



Леонид Ленч

Леонид Сергеевич Ленч (Попов) родился в 1905 году в местечке Морозовка Краснинского уезда Смоленской губернии.

Первая книжка рассказов Л. Ленча «Первая улыбка» вышла в 1936 году. Позднее изданы сборники его рассказов и фельетонов: «Знакомое лицо» (1938 г.), «Укрощение строптивых» (1939 г.), «Осиновый кол» (1942 г.), «Юмористические рассказы» (1951 и 1952 гг.), «Единственный свидетель» (1956 г.), «Когда медицина бессильна» (1958 г.), «В таком разрезе» (1959 г.), «Адская машина» (1965 г.) и др.

Л. Ленч написал пьесу «Павел Гренок» (совместно с Б. Войтеховым), сатирическую комедию «Большие хлопоты», комедию-памфлет «Изгнание из рая» и другие пьесы. В 1962 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла его повесть «Черные погоны». По сценарию Л. Ленча в 1958 году Мосфильм поставил кинокомедию «Девушка без адреса».

КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

З а н о з а

РАССКАЗЫ

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1966

В эту книжку вошли некоторые рассказы известного советского писателя-юмориста и сатирика Леонида Ленча.

Они написаны в разное время и на разные темы.

В иных рассказах юмор автора добродушен и лиричен («На мушку», «Братья по духу», «Интимная история»), в других становится язвительным и сатирически-осуждающим («Рефлексы», «Дорогие гости», «Заноза»). Однако во всех случаях Л. Ленч не изменяет своему чувству оптимизма.

Юмористические и сатирические рассказы Л. Ленча психологически точны и убедительны,

СОДЕРЖАНИЕ

Медвежьи рассказы	3
На мушку (<i>Рассказ рыбакова</i>) . . .	3
Братья по духу (<i>Рассказ пасечника</i>) . .	7
Интимная история (<i>Рассказ моего знакомого</i>)	11
Острое оружие	18
Заноза	24
Говорит Буканов	32
Свадебный подарок	37
Как рухнул Кардамонов	45
Во всем виновата форточка	53
Костюм к лицу	59
Ильин день	65
Свидание	70
Мамочка (<i>Маленькая трагикомедия</i>) . .	77
Кроха	83
Рефлексы	93
Пережиточный вирус	101
Дорогие гости	106



На мушку

(Рассказ рыбакова)

Когда я приехал после окончания института в наш поселок электриков на работу, я был молод, безбород и настолько глуп, что даже сам не подозревал, каким богатством я обладаю. А выяснилось все так. Поселковый парикмахер, у которого я обычно брился, пошел на охоту, свалился с сопки и сломал себе ногу. Его увезли в больницу. А у нас на станции вышла из строя одна из турбин, и мы авралили три дня без отдыха и срока. В общем, десять дней я не брился, и из меня густо поперла жесткая и, к моему глубочайшему удивлению, до невозможности рыжая борода. Иду по поселку домой со станции, прикрываюсь рукой и мечтаю о том, с каким наслаждением я

сейчас соскребу со своих щек эту рыжую неприличность.

И вдруг меня останавливает один знакомый, вернее, сосед. Посмотрел на меня и говорит:

— Слушай, парень, ты, я вижу, счастливчик. Бородаща-то у тебя рыжая!

— Оказывается, рыжая! — отвечаю я ему с душевным сокрушением. — Поди, знай!.. Вот иду бриться!

— Да ты с ума сошел! Разве можно собственное счастье сбривать?! А хариусов на что будем ловить?! Второй такой бороды нет в поселке!

Хариус — это наша алтайская форель, дивная рыба сказочной красоты.

Хариус водится в чистых горных реках. Представьте себе живой стилет безукоризненно изящной формы. Цвет — благородное, чистое, без всяких примесей серебро. Силища — как у дикого коня: хариус прет всегда только против течения и со скоростью до 70 километров в час. Хороший скорый поезд!

И вот эта рыба-аристократ, рыба-мечта, рыба-недотрога почему-то лучше всего клюет на «жучка»... на дурацкую искусственную мушку с волосяными лапками, сделанную из вульгарных рыжих волосков от какой-нибудь задрипанной бороденки. Рыбьи вкусы неисповедимы!

Сейчас я снабжаю волосками из своей бороды своих друзей — любителей-рыболовов. Передо мной заискивают, наперебой приглашают меня в гости (что мне, холостяку, особенно приятно), ищут моего расположения.

Все это — во имя хариуса, ради хариуса и для хариуса!

...Как-то летним воскресным утром пошел я за хариусами на Гремянку — очаровательную горную речку, километров за двенадцать от поселка.

«Мушки» из волосков, выданных из собственной бороды, были приготовлены мною еще в субботу. С изрядно поредевшей «барбароссой», но бодрый и полный надежд, в резиновых высоких сапогах, в соломенной шляпе от солнца, с рюкзаком за спиной и с удилщем на плече шагал я по горной тропке. Впереди рысцой бежала Ключка — моя собака, маленькая криволапая дворняжка. Одно ухо торчком, другое — полувисит, хвост бубликом, масть белая, на продувной острой морде нелепое черное пятно, закрывающее левый, хитро поблескивающий Ключкин глаз.

Ключка бежала и непрерывно оглядывалась, проверяла — иду ли я следом. Она не верила своему счастью! Ключка обожает дальние прогулки, но я не часто ее балую и обычно не беру ее с собой. Дело в том, что с ней всегда случаются разные неприятности: или она выгонит из норы ежа и наколет себе нос об его иглы, или свалится в какую-нибудь яму, из которой мне приходится ее вытаскивать, или ввяжется в драку с охотничьей собакой в лесу и, конечно, получит хорошую трепку. Какой-то четвероногий Епихов, тридцать три собачьих несчастья!

Обычно я оставляю ее дома, и Ключка долго скулит и жалобно воеет, изнывая от обиды и огорчения. Но на этот раз я взял ее с собой, и собачонка всем своим существом от кончика уха (того, что торчком) до кончика хвоста (того, что бубликом) выражала почтительную благодарность своему хозяину за оказанную ей милость.

Мы благополучно дошли с Ключкой до Гремянки, я выбрал на берегу подходящее местечко, с замиранием сердца сделал первый заброс — и течение понесло леску с моей «мушкой» навстречу предполагае-

мым хариусам. Второй заброс, третий, четвертый... Ах, какое это было изумительное летнее утро! Ворочая камни, несется, хохоча во все свое речное горло, неутомимая Гремянка, на противоположном высоком берегу чуть качаются под легким ветерком четкие вершины сосен и зеленые конусы сосредоточенно молчаливых елок, смолистый воздух так чист и так вкусен, что, кажется, ты не дышишь им, а пьешь его и пьешь, пьянея от дивной свежести, и никак не можешь напиться! Но главным было не покидавшее меня в то волшебное утро чувство слепой уверенности в том, что вот-вот сейчас, сию минуту в реке появятся хариусы!

И, действительно, они появились! В воде сверкнула серебряная живая молния, вторая, третья!.. Хариусы!

Прячась в тени от куста, напряженной до боли рукой осторожно делаю заброс, веду леску с «мушкой» им навстречу. Давайте, милые мои, хватайте! И вдруг раздается отчаянный Ключкин не то визг, не то лай, и я чувствую, как моя собачонка тычется мне в ноги, словно хочет спрятаться.

Не отрывая взгляда от лески, делаю лягательное движение правой ногой и отбрасываю от себя проклятую Ключку. Но она снова не то визжит, не то лает и снова тычется в мои ноги. Оборачиваюсь и — о боги! — вижу в пятидесяти шагах от себя, не больше, здорового медведя. Опершись одной передней лапой на пень, вторую держа на весу, зверь внимательно смотрит на меня, словно ждет — поймает хариуса этот чудака в шляпе или не поймает?

Я чувствую, как моя рыжая борода от неожиданности и от страха встает дыбом, и... роняю в воду удочку! Недовольно рывкнув, словно выругавшись,

медведь, тяжело переваливаясь, не спеша скрывается в лесу. Это происходит в одно мгновение!

Обернувшись лицом к Гремянке, я вижу уносящуюся по течению мою удочку. И те же серебряные молнии в воде... И торжествующую морду Ключки, на которой написано: «А ты еще не хотел брать меня с собой!»

Пришлось не солоно хлебавши тут же отправиться домой. И опять Ключка бежала впереди и непрерывно оглядывалась. Видно было, что она считает себя героиней дня и моей спасительницей. А меня грызла досада: такой был ход хариуса, и все пошло — извините — в буквальном смысле слова псу под хвост! Но потом я тронул себя за бороду и подумал: «Ничего, была бы борода на месте, а хариусы будут».

Я подозревал Ключку, погладил ее (надо же было отметить ее собачью бдительность!), и мы с моей верной собакой бодро зашагали по знакомой тропке домой.

Братья по духу

(Рассказ пасечника)

— С чего у меня вся эта междаметия произошла? С того, что старуха моя взбрыкнула! Да так взбрыкнула, что ни подойти, ни подъехать! «Надоело мне,— кричит,— с тобой, со старым хрычом, в этой глуше куковать! Какой ты к черту,— кричит,— законный супруг, если не способен свою супругу, прогрисистую женщину, на худой конец даму, обеспечить полным культурным удовольствием! Я,— кричит,— по телевизору соскучилась, у меня,— кричит,— складывается такое впечатление, что кино я в последний раз в прошлом веке смотрела! Поеду к дочке, погощу хоть у нее,

внучку потетешкаю, понянчу! Завтра же,— кричит,— отправляй меня, а сам живи тут как знаешь со своими пчелками, пропади они пропадом, твои божьи работнички, прости меня, господи, грешную!»

При этом бежит по избе, как очумелая, одной рукой платышки свои в чемодан закидывает, другой — мне грозит. А когда я к ней подступаю, чтобы ее укоротить, этой же грозящей рукой фигу мне показывает. «Ну,— думаю,— если я эту даму скаженную завтра же не отправлю к дочке (дочка, между прочим, не моя, от первого мужа, я сам вдовец, и она вдова, на том и сошлись) — такая пойдет у нас грызть, что останутся от моего довольно еще крепкого организма одни белые косточки!»

— Ладно,— говорю,— не дури, поезжай, мне самому хочется отдохнуть от тебя, пожить одному в полное свое природное удовольствие.

Уехала моя дама скаженная, и стал я жить в полное свое природное удовольствие.

День живу в полное природное удовольствие, второй, третий... На четвертый заскучал. Никто меня не грызет, не шпыняет, не кричит на меня, не дергает — такая вокруг меня образовалась бессловесная пустота, что хоть живьем в гроб полезай! Пойду на пчельник — пчелки жужжат, а мне слышится, будто это супруга моя жгучими словами меня шпыняет. Вроде полегчает, а потом еще пуще скука когтит.

Выйду на тракт, постою. Машины мимо — вжик, вжик!.. Знакомый шофер рукой махнет, а мне опять блазнится — это дама моя фигой мне на полной скорости помахала. Только обрадуюсь, а она уже промелькнула, милая виденья!

Куда пойдешь, кому пожалишься?

Ведь собаки и той нет! Полкашку моего прошлым летом медведь до смерти лапой зашиб, нового пса не завел и не заведу, второго Полкана нет и не будет, ну, да это особый разговор.

Пошел в избу, выпил с горя медовухи — не берет! А ведь отменная у меня медовуха, на всю округу славится, но не тот, видать, у нее градус, чтобы перешибить мою кручинушку. Не миновать, думаю, в город за водкой ехать!

Мигом собрался, все в избе бросил, как есть, а бочку с медовухой оставил в сених, только досечками ее прикрыл, а сверху камушком придавил. И тут же ковшик оставил, кто зайдет, захочет испить, пожалуйста, пей, милый, в полное свое природное удовольствие, нам нашего продохта не жалко!

Пошел на трахт, проголосовал, сел в попутную машину и поехал в город за сорок километров. В «Гастрономе» встретил знакомого лесника, выпили мы с ним половинку на двоих, вторую половинку в запас взял и тем же манером покати́л домой.

Пока ехал в кузове, ветерком обдуло — повеселел. Сошел с машины, иду знакомой тропочкой, а тут — вот беда-то! — опять, чувствую, меня скука начинает забирать! Подхожу к дому... что такое? Бельишко, какое висело на веревке, в клочья разодрано, валяется на земле. Захожу в сени — батюшки! Бочка с медовухой лежит на боку, продохт весь не то выпит, не то вылит... Гляжу — следы на траве. Ага, суду все ясно! Михаил Иванович заходили, поозоровали, напакостили и удалились восвояси!

Взял я свою верную тулку центрального боя, зарядил картечью да в карман с десяток патронов сунул и пошел по его следам. Дошел до речки — следы обо-

рвались. Перешел речку вброд — вот они снова, свежие! И вдруг слышу, кто-то храпит, да так храпит, что аж земля дрожит. Огляделся, а он — вот он!.. Лежит под кустиком, здоровый чертила, лапу переднюю под морду подложил и работает на всю носовую завертку!

Подхожу вплотную... Храпит, не просыпается! Носком сапога толкнул его в окорок... Никакого впечатления, еще громче захрапел! Наклонился... Медовухой от него так и шибает!

Ну как в спящего зверя, да еще в пьяного, стрелять!

Ведь мы с ним, думаю, сейчас вроде как бы братья по духу!

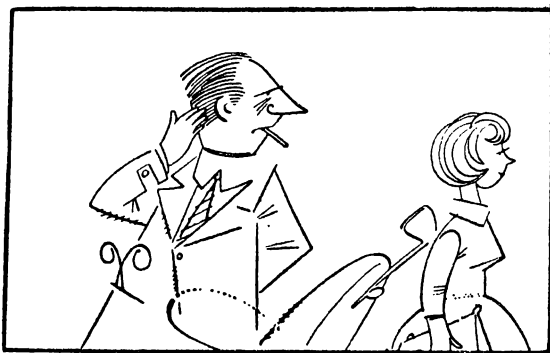
Ткнул его еще раз сапогом, а он один глаз открыл, посмотрел на меня, вздохнул, перевернулся, бродяга, на другой бок и еще громче захрапел. Постоял я над ним, постоял, плюнул и пошел домой. Выпил привезенную из города вторую половинку, повалился на кровать и сам захрапел не хуже того медведя.

Утром слышу, кто-то меня тормозит, трогает за плечо, толкает в бок. Открываю один глаз... Что за притча! Стоит надо мной моя дама скаженная, чемодан в руке, улыбается, как ангел небесный. «С добрым утром», — говорит. «С добрым утром, — отвечаю. — И позвольте поинтересоваться, почему это такое вас раньше времени домой принесло?» — «Соскучилась, — говорит, — по законному супругу. И еще, — говорит, — опасалась, как бы ты, старый греховодник, не привел в избу какую-нибудь там... медведицу!»

К слову — о медведице. Мне потом один охотник говорил, что подстрелил медведицу. Я теперь думаю, что это «вдовец» ко мне заходил и помянул моей медовухой свою благоверную. Хорошо, что я его тогда помиловал!

ИНТИМНАЯ ИСТОРИЯ

(Рассказ моего знакомого)



Должен вам сказать, что я ревнив, как... чуть было не сказал, как Отелло, но вовремя спохватился. Отелло, по-моему, прежде всего простодушен и детски доверчив, а уж потом ревнив. Если бы не злодей Яго, бедный мавр не ревновал бы так бешено свою золотоволосую венецианку. Ведь у Отелло был повод для ревности, ложный, но все же повод — хитросплетения подлеца Яго и вся эта злосчастная путаница с платком. А не будь ложного повода — Отелло и Дездемона прожили бы в мире и согласии до глубокой старости, у них были бы дети и, возможно, внуки, и бабка Дездемона, вытирая их черные носышки, рассказывала бы им страшные и великолепные были

про сражения, в которых участвовал их храбрый дедушка Отелло, когда он был молодым генералом!

Я же ревную, вернее, ревновал, свою умную, милую, красивую жену в сущности без всякого повода.

Не глядите на меня так осуждающе: даю вам слово, я — не какой-нибудь там патологический тип и не бай-феодал, я абсолютно здоров, нормален во всем, общественность наша души во мне не чаёт. Просто я как влюбился в свою жену пять лет тому назад, так и до сих пор нахожусь в этом состоянии влюбленности, чудесном, остром, но всегда немножко болезненном. Может быть, моя сумасшедшая ревность это. всего лишь боязнь потерять — нечаянно или случайно — свое счастье?

Ревную, я не делал жене громких сцен, не упрекал, не ругался, не рвал на себе волосы, не вращал белками глаз, как плохой актер в роли того же Отелло. Нет, ревную, я «уходил в себя», впадал в зловещий минор, трагически молчал и хмурился. Но так было больнее.

Однажды у меня все же произошло объяснение с женой, когда в одном доме она слишком уж открыто кокетничала, разговаривая со своим соседом по столу, молодым, талантливым художником.

По дороге домой я высказал ей все, что у меня накипело в душе за этот трудный вечер. Она выслушала меня, чуть-чуть подняла тонкие брови и, прищурив иронически свои прелестные карие глаза, сказала: «Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю. Я тебе верна больше, чем Пенелопа Одиссею, но я кокетлива, как всякая женщина. В этом нет ничего дурного». — «Ты не всякая женщина, — сказал я ей, — ты серьезная, умная женщина, научный работник, физик». — «Я — кокетливый физик!» — сказала она. «Таких не бы-

вает!» — вскрикнул, вернее, даже взвизгнул я. Она усмехнулась и сказала: «Мы — физики, как тебе известно, не чуждаемся лирики. У нас в институте часто выступают поэты, и некоторые из них очень кокетливы, хотя они и мужчины. Наверное, это они (тут она вздохнула) так плохо на меня подействовали!..»

Мы поссорились в тот вечер. Потом, правда, помирились, но это объяснение меня не исцелило. Исцеление произошло позже. И местом действия происшествия, которое сыграло роль решающего психологического толчка, в этом смысле была... дамская парикмахерская. Как-то после работы я зашел за женой туда: у нее в институте в тот вечер праздновали юбилей видного ученого, ее шефа, и ей нужно было, по ее словам, «причесаться на высшем уровне».

Я, как и вы, уважаю любой труд и знаю, что среди дамских парикмахеров немало найдется хороших скромных работников, любящих свою полезную профессию. Но этого я возненавидел сразу, как только он в своем ослепительно-белом накрахмаленном халате (здесь эту спецодежду называют более изысканно — пеньюар), покинув свое святилище, появился в комнате ожидания.

Это был начинающий толстеть блондин, почти альбинос. Очень быстрый в движениях. Длиннорукий и короткопалый, с толстыми ловкими пальцами, поросшими светло-рыжей шерстью. Глаза презрительные и тоже светло-рыжие, как у выдры, причем у такой выдры, которая абсолютно убеждена в том, что уж она-то никогда не станет шубным воротником!

Как только он появился в комнате ожидания, — сидевшие тут женщины, все как одна, заулыбались, задвигались и подались к нему навстречу. И моя жена — тоже! А он, одарив их всех небрежно-ласковым

взглядом, сюсюкающим медовым голосом произнес:
— Милочки, умоляю, принесите кто-нибудь сигарет из буфета — покурить охота!

В одно мгновение две женщины вскочили со своих стульев и рванулись к дверям: добродушная толстуха-блондинка и худенькая длинноносенькая некрасивая брюнетка. Несмотря на свой вес и габариты, толстуха опередила в дверях соперницу на полкорпуса. На свои полкорпуса!

Вернулись они одновременно. «Он» сказал: «Сэнкью», — сунул в карман пеньюара две пачки сигарет и с той же небрежностью кивнул моей жене: «Идемте, милочка, ваша очередь». И моя гордая, уверенная в себе жена, вспыхнув, как девочка, поднялась и какой-то отвратительно-гаремной походкой пошла следом за ним. Он пропустил ее вперед и при этом покровительственно похлопал по плечу. Меня всего перекорежило. Толстуха-блондинка посмотрела на меня сочувственно и спросила: «У вас что, — печеночные колики?» Я промолчал.

Дверь в рабочий зал была открыта. Видеть, как «он» перебирает своими толстыми рыжими пальцами золотые, еще чуть влажные локоны моей жены, слушать его пошлый медовый голос и ее вкрадчивый, кокетливый смех... боже, какая это была чудовищная пытка!

Меня снова стало корежить. А он, помахивая расческой, наклонялся к жене и повторял: «Милочка, я вас оформлю, как сказку из венского леса». И она улыбалась ему с тем зазывным смутным лукавством, на которое способны только женщины.

Кажется, я тут заскрежетал зубами, потому что добрая толстуха вздрогнула, открыла свою сумочку и, протянув мне коробочку с пилюлями, сказала:

— Примите, мне лично это помогает!

...Мы пошли домой пешком, и я довольно резко сказал жене, что мне не нравится, как она держала себя в парикмахерской. И она впервые за все пять лет нашей супружеской жизни накричала на меня.

— Ты ничего не понимаешь! Гри-Гри (его зовут Григорий Григорьевич, но женщины-клиентки называют его почему-то Гри-Гри — по-видимому, применительно в изысканному словечку «пеньюар») — он же незаменимый мастер, настоящий художник, к нему так трудно попасть! Естественно, что все женщины хотят ему понравиться... чем-то угодить, чем-то заслужить его внимание!..

Прическу «он» ей сделал в тот вечер, надо ему отдать справедливость, великолепную, и я был разбит по всем статьям!

С тех пор, отправляясь в парикмахерскую, моя жена стала каждый раз просить меня заходить за ней. Как выяснилось позже, это делалось с «педагогической целью»: меня хотели «проучить» и «отучить». И каждый раз меня корежило и выворачивало наизнанку, когда этот проклятый Гри-Гри «оформлял» мою жену то под «сказку венского леса», то под «плакучую иву», то под «царя зверей» — была у него и такая прическа.

И вот однажды в парикмахерской появился новый мастер — совсем молоденькая девушка, почти девчушка. Низенькая, крепенькая, с приятным смышленным личиком. Никто не хотел садиться к ее трельяжу (и моя жена, конечно, тоже). Девчушка уже не спрашивала, а со стоном взывала: «Кто следующий?» Но женщины в очереди все как одна упрямо твердили: «Я к Григорию Григорьевичу». Девчушка молча пожимала плечиками, мне казалось, что она вот-вот

расплатится от этого оскорбительного недоверия.

И вдруг какая-то девушка — бледная, угловатая, чуть скуластенькая... поднялась со своего стула и решительно направилась к трельяжу нового мастера. Боже мой, как засуетилась моя девчушка. Деловито нахмурив брови, она спросила свою клиентку:

— Какая вам нужна прическа? Для семейной вечеринки? Для общественного торжества?

— Для заводского бала! — сказала девушка.

Ну, что вам говорить! Села за трельяж к девчушке Золушка, а через час поднялась принцесса: так восхитительно преобразила ее новая прическа.

В рабочем зале, в комнате ожидания все ахнули, когда она встала и со смущенной милой улыбкой направилась к кассе. Даже величественный Гри-Гри так и застыл на месте с расческой в руке. В его рыжих самодовольных глазах появилось выражение растерянности и странного испуга.

Вы, наверное, уже догадались, что когда я в следующий раз зашел за женой в парикмахерскую, я увидел ее сидящей перед трельяжем Леночки — так звали нового мастера. Да, да, именно так и было!

Но было еще и другое! Великолепный Гри-Гри появился в комнате ожидания и спросил: «Кто следующий?» И все промолчали. Он повторил свой вопрос, и тогда толстуха-блондинка (она опять оказалась рядом со мной) с легкой усмешкой сказала: «Я лично — к Леночке».

Гри-Гри скривился и... пошел к дверям. За сигаретами, в буфет!

«Да здравствуют молодые талантливые кадры! — подумал я. — И долой всякую надутую незаменимость! Везде и во всем!» .

Я поднялся со своего стула, быстро сбежал вниз по лестнице, надел пальто в гардеробе и тут же подле дома купил в ларьке маленький букетик оранжерейных гвоздик в целлофановом пакете. Я сунул пакет с цветами во внутренний карман пальто, снова разделся и поднялся в парикмахерскую. Добродушная толстуха стояла рядом с моей женой и громко восхищалась искусством Леночкиных умных рук.

Мы спустились в гардероб, и тут я сделал вид, что забыл наверху свежую книжку толстого журнала. Я извинился перед женой и помчался — в пальто! — наверх, вызвал Леночку в коридор и, протянув ей пакет с гвоздиками, сказал:

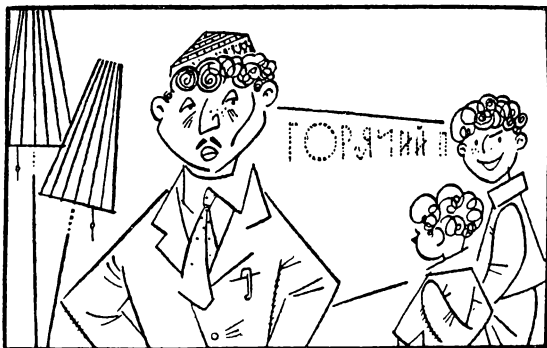
— Я хочу вас поблагодарить от имени всех мужей за то, что вы делаете наших жен такими красивыми!

Она очень смутилась, но цветы взяла. И вдруг покраснела и сделала мне знак глазами. Я обернулся и увидел свою жену. Она стояла в коридоре и смотрела на нас. Вернее, на меня. Я не знал, как называется та прическа, которую ей сделала Леночка, но смотрела она на меня глазами разгневанного царя зверей!..

...На этот раз по дороге домой мы очень много смеялись. И о многом поговорили с женой. И никогда мне не было так хорошо и так легко, как в тот вечер.

Я не ревную больше мою жену, но если теперь мне не нравится что-то в ее поведении на людях, я говорю ей тихо: «Гри-Гри!» — и жена моя, как это говорится, «перестраивается на ходу». А когда ей не нравится мое поведение, она так же тихо произносит «Леночка», и тогда я перестраиваюсь.

Праздничные прически моей жене и ее подругам делает теперь только она — наш общий друг Леночка.



Атхаму Хамдамову

Когда люди слышат, что у меня восемь детей: пять мальчиков и три девочки, некоторые товарищи поглядывают на меня с сожалением и сочувствием.

Напрасно, дорогие друзья, честное слово, зря! Конечно, живем мы с женой, может быть, не так легко и беспечно, как бездетные или малодетные супруги, но зато весело. Ребята у меня дружные, хорошие: мальчики — типичные орлы, девочки — типичные горлицы. Правда, клюют эти орлы и горлицы — ой-ой-ой! — порядочно, сядем за стол — пяти буханок хлеба как не бывало. Но тут уж ничего не поделаешь: природа! Растущий ребенок кушает, как лев. И это не афоризм, а сущая правда!

В общем, жить можно, надо только уметь приспособливаться к обстоятельствам. Возьмем хотя бы вопрос одежды.

Как мы с женой решаем этот, не скрою, трудный вопрос применительно, скажем, к мальчикам?

Очень просто! Раз в году я покупаю хороший дорогой костюм моему первенцу, моему старшине Юсупу, и новый детский костюмчик, какой подешевле и по возможности попрочнее, самому младшенькому кудрявому Абдулле. Старый костюм Юсупа жена чистит перешивает, укорачивает, и он делается, как новый. И переходит на год к Ахмету.

Такой же операции подвергается старый костюм Ахмета — его надевает Вахид. Обновленный костюм Вахида уходит к Рахиму. А под старыми штанами и курточкой Рахима в будние дни проводит свои научные исследования Абдулла. Вы хотите знать тему его научной работы? Вот она: «Лазанье по деревьям и скатывание на задугу по лестничным перилам как методы наиболее интенсивного продирания штанных тканей».

Не знаю, получит ли Абдулла степень кандидата наук за эту свою научно-исследовательскую деятельность, но порку от меня он получает довольно часто!

Абдулла получает шлепки, а на его штаны кладется новая заплатка. И караван идет дальше!

С девочками, конечно, труднее. Тут нашему высшему семейному руководству, то есть мне и моей жене Саиде-ханум, приходится иной раз ломать голову, но ничего, обходимся! Во всяком случае, наши горлицы не жалуются: оперение у них не хуже, чем у их подружек!

Короче говоря, если вы в будущем услышите, что моей Саиде присвоено звание матери-героини, — не удивляйтесь. Мы с ней давно решили, что нам нельзя

останавливаться, как говорят ораторы, на достигнутых успехах по линии увеличения народонаселения Советского Союза вообще и нашего солнечного Узбекистана в частности. Где восемь, там и десять! И это не афоризм, а сущая правда!

Однако прямо вам скажу, что быть отцом-молодцом такой семьи, как наша,— не простая штука. Тут я имею в виду не материальные, а скорей, моральные трудности. Вот послушайте-ка, что со мной случилось недавно.

Полгода тому назад, когда вся наша семья сидела за обеденным столом,— как сейчас помню, это было в воскресенье, в выходной!— мой старший Юсуп обратился ко мне и сказал:

— Папа, мы решили выпускать семейную стенгазету. Ты ничего не имеешь против?

Ну, конечно, я, как газетный работник, понимаю, что стенная печать является острым оружием в борьбе с недостатками, ничего против не имел и горячо поддержал идею Юсупа:

— Хорошая мысль, сынок! У нас в семье еще имеются недостатки и по линии быта и по линии учебы. Рахим опять принес двойку по арифметике. Вот вам прекрасная тема для серьезного критического выступления в стенной печати!.. Абдулла, сейчас же вынь свой указательный экскаватор из носу, если не хочешь попасть в первый номер газеты... Я тебя назначаю главным редактором, Юсуп! А как мы назовем нашу стенгазету?

Со всех сторон посыпалось:

— «За боевую семью», «Семейный спутник», «Семейная ракета», «Семейная правда».

Но тут в дверях столовой появилась Саида-ханум

с огромным блюдом дымящегося плова в руках, и я сказал:

— Наша стенгазета будет называться «Горячий плов».

Все захлопали в ладоши, и мое предложение было принято.

И наша семейная стенгазета «Горячий плов» стала выходить аккуратно! Два раза в месяц! Вывешивает ее Юсуп в нашей столовой. Хорошая стенгазета, ведется на высоком идейном уровне.

Однажды — это было тоже в воскресенье — я сижу после обеда на веранде, курю и собираюсь немножко подремать. И вдруг ко мне подходит Юсуп. Лицо очень серьезное и какое-то такое... смущенное...

— Папа, мне надо с тобой поговорить по делам «Горячего плова».

— Давай, сынок, поговорим.

— Папа, дело в том, что на тебя поступил материал. Как быть?

— Какой материал?!

— Папа, ты знаешь какой!

Я действительно знал, какой материал мог поступить в редакцию «Горячего плова». В четверг после работы я зашел по дороге домой к одному товарищу, и мы немножко выпили. Моя Саида-ханум очень не любит, когда я прихожу навеселе, и поэтому я всегда стараюсь сделать так, чтобы она ничего не заметила. И в этот четверг я тоже проявлял, как говорится, бурную активность, дабы усыпить бдительность Саиды-ханум и показать ей, что я настоящий высокоморальный, а главное — трезвый отец-молодец.

Я стал лично проверять академические успехи у своих орлов и горлиц. И тут выяснилось, что у Рахи-

ма не выходит задача, которую им задал преподаватель для решения на дом.

— Иди ко мне, великий математик, будущий новый Улугбек! — сказал я своему мальчику. — Так и быть, я помогу тебе. Какие условия? Ага! Колхозник привез на базар двадцать пять килограммов луку, двенадцать килограммов персиков и так далее... Сейчас мы с тобой это решим.

Раз, раз, я помножил, сложил, разделил и сказал Рахиму:

— На, сынок, запиши результат, но помни, что я решил за тебя задачу в первый и в последний раз!

Рахим записал... и в пятницу принес из школы двойку, потому что, будучи навеселе, я не так складывал, не на то умножал и не на то делил!

Подумав, я сказал Юсупу:

— Критика и самокритика — святое дело. Раз материал поступил и он правильный, надо давать в газету! Только скажи мне, Юсуп, солнышко мое, кто автор заметки?

— У него псевдоним — Экскаватор.

— Я не буду его преследовать, Юсупчик, радость моя, но все-таки скажи, кто же он — этот Экокаватор?

— Это Абдулла!

— Абдулла? Да ведь он, сопляк, еще не умеет ни читать, ни писать!

— Неважно, папа. Рахим рассказал ему первому про свое несчастье, и Абдулла пришел в редакцию и сказал, чтобы мы обработали его устную заметку.

— А кто обработал?

— Вот это уже редакционная тайна, папа!

Что мне оставалось делать? Я махнул рукой и сказал:

— Помещайте материал!

— Этого мало, папа. Ты знаешь порядки нашего «Горячего плова». Ты должен написать письмо в редакцию, что признаешь критику правильной и даешь клятвенное обещание не допускать повторения подобных ошибок.

Пришлось тут же написать письмо в редакцию «Горячего плова». Я признал критику Экскаватора правильной и поклялся, что больше в рот не возьму белую.

На следующий день после выхода стенгазеты с моим покаянием мы с Саидой-ханум были приглашены к нашим друзьям Бободжановым.

Хозяин дома налил мне стопку водки, но я только посмотрел на нее с сожалением и отодвинул в сторону.

— Что с тобой, друг? — спросил меня Бободжанов.

Я рассказал свою печальную историю.

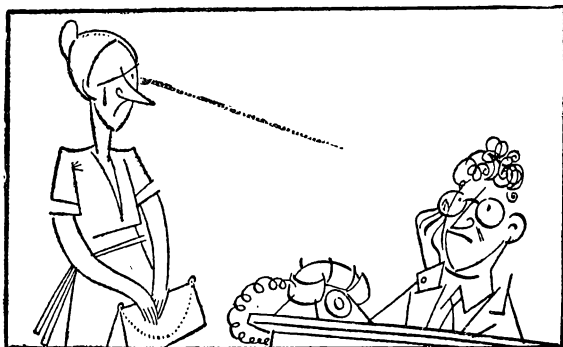
Тогда Бободжанов, мудро улыбаясь, взял чайник и подкрасил мою водку чаем.

— Ты дал клятву не пить белую, — сказал Бободжанов, — пей желтенькую.

И я уже поднес стопку ко рту, но Саида отобрала у меня стопку и под общий смех сказала, что, если я выпью желтенькую, она сама напишет про меня в «Горячий плов» и назовет свою заметку «Клятвопреступник тире очковтиратель».

Весь вечер я пил теплый, сладкий лимонад и думал, что сладкое в жизни иногда отдает горьким. И это не афоризм, а сущая правда.

...На днях мы будем отмечать выход в свет двенадцатого номера «Горячего плова». Приходите! Будет шурпа, будет шашлык, будет плов. И лимонаду, будь он проклят навеки, сколько угодно!



Позвонил Насонов, председатель райисполкома, расспрашивал о том, о сем, а потом сказал будто невзначай:

— Да, Федор Павлович, а как там у тебя обстоит дело с этим домишкой по второму Заломному... семь дробь пятнадцать, кажется?

Председательский бас звучал в трубке подозрительно ласково, и Федор Павлович Блескунов, заведующий жилищным отделом, сразу почуял подвох со стороны начальства. Только вчера, в воскресенье, они вместе ездили на рыбалку и за ужицей Федор Павлович рассказывал Насонову, как он мучается с этим проклятым семь дробь пятнадцать по второму Заломному, а Насонов,

посмеиваясь, даже сочувствовал ему. И вдруг сегодня звонит, интересуется официально. Это неспроста!

Однако на всякий случай Федор Павлович ответил подчеркнуто бодро:

— Все в порядке, Аркадий Иванович. Вопрос о сносе дома семь дробь пятнадцать по второму Заломному упирается лишь в одну гражданку Сухарькову.

— Вопрос упирается или гражданка Сухарькова упирается?

«Понятно, куда ты гнешь»,— усмехнулся про себя Федор Павлович и с той же обаятельной бодростью сказал в трубку:

— До невозможности упрямая женщина попалась, Аркадий Иванович! Уж я с ней и так и этак. Как говорится,— и лаской, и таской. Ни в какую. Ломается, как пушкинская старуха из сказки про золотую рыбку!

— Смотри, как бы ты сам, Федор Павлович, в конце этой сказки не оказался у разбитого корыта!

Насонов хохотнул. Можно было принять его угрозу как шутку, но опытное ухо Федора Павловича уловило в смехе председателя райисполкома нотки зловещей многозначительности.

«Ему сверху звонили,— тревожно подумал Федор Павлович.— Нажали на него, а теперь он на меня жмет!»

Тут в кабинет Федора Павловича заглянула Лидочка, секретарша. Энергично потряхнув золотыми кудряшками, она хотела что-то сказать, но Федор Павлович яростно замахал на нее рукой, и Лидочка исчезла за дверью.

Плотнее прижав к уху телефонную трубку, Федор Павлович сказал с чувством:

— В этом треклятом домишке, Аркадий Иванович, как вам известно, двое козовладельцев жили. И один цветовод-любитель. В отношении переселения в новые дома это самые упорные люди. Про таких мы, жилищники, говорим, что им «сносу нет». Они в своих деревянных клоповниках насмерть сидят, Аркадий Иванович, потому что у них свой интерес — палисадник! И то я их одолел! Цветовода балконом взял, он теперь на балконе свои настурции разводит, вчера приходил благодарить за комнату... даже букетик принес моей секретарше. Но гражданка Сухарькова, Аркадий Иванович, любому козовладельцу сто очков вперед даст. Это свехупорная женщина, Аркадий Иванович...

— Вот что, товарищ Блескунов,— бесцеремонно прервал излияния Федора Павловича председатель райисполкома,— даю вам три дня на эту свехупорную гражданку Сухарькову. Это же безобразие в конце концов! Строители не могут начать расчистку площадки из-за вашей безрукости... Через три дня мне лично доложите... про вашу золотую рыбку со старого Заломного. И имей в виду, Федор Павлович: вызовем тебя на президиум, если не справишься с боевой задачей, а то и на бюро! Желаю успеха!

Некоторое время Федор Иванович сидел молча, укоризненно смотрел на телефон. Потом перевел взгляд на потолок,— толстые губы Федора Ивановича при этом беззвучно шевелились, и со стороны можно было подумать, что заведующий жилищным отделом молится богу, а на самом деле он облегчал душу словами, произносимыми «в уме».

Тут снова в кабинет заглянула Лидочка и сказала как ни в чем не бывало:

— Федор Павлович, вы будете граждан прини-

мать? Тут вас, между прочим, эта прелесть дожидается... Сухарькова со второго Заломного.

— Сухарькова здесь?!

— Вы же сами мне велели вызвать ее на сегодня для беседы.

— Почему вы раньше мне не сказали про Сухарькову?

— Хотела, да вы на меня руками замахали,— обиженно сказала Лидочка.

— Ну, ладно! Давайте Сухарькову первую сюда!

В кабинет вошла пожилая женщина, сухопарая, с утиным носом, с пласивым выражением плоского неразборчивого лица, одетая не по возрасту ярко. На ней было платье из крепа — по зеленому фону алые маки,— на костлявых желтых щиколотках — белые носочки с синей каемкой, в руках — розовая маленькая сумочка, которую она нервно теребила и мяла.

«Ишь вырядилась, старая курица!» — подумал Федор Павлович и приветливо сказал:

— Здравствуйте, Аграфена Ильинична! Садитесь, пожалуйста.

Сухарькова молча кивнула головой и села на краешек кресла.

— Ну как, Аграфена Ильинична, будем переезжать в новый дом или будем капризничать?— с той же привычной бодростью начал беседу Федор Павлович, решивший сразу «братъ быка за рога».

Сухарькова положила свою сумочку на письменный стол заведующего жилищным отделом и, глядя ему прямо в глаза, сказала значительно:

— Товарищ Блескунов, вы, пожалуйста, только не давите на мою психологику, не надо этого делать... я все законы знаю, со мной надо по-хорошему!..

— Я же по-хорошему с вами... который день бьюсь. Ведь все выехали, вы одна остались... как заноза!

Сухарькова поджала тонкие недобрые губы:

— Я не заноза, товарищ Блескунов, а женщина... одинокая... незамужняя, хоть и работаю кассиршей в магазине... у меня почетная грамота имеется, к вашему сведению!

Она достала из розовой сумочки скомканный платок, прижала к глазам. Ее утиный нос покраснел.

— Меня нельзя обижать! За меня всегда общественность заступится. Я ведь и к депутату и в редакцию пойду, если что...

Федору Павловичу стало не по себе.

— Да разве я вас обижаю, Аграфена Ильинична?!— сказал он с легким испугом.— Это вы меня обижаете... подводите под монастырь! Пожалуйста, беру «занозу» назад. Но поймите же и вы нас: вы — одна!— задерживаете большую стройку. Ведь на месте вашей развалюхи новый дом поставят, со всеми удобствами для наших замечательных советских людей!

— А я, значит, не советская и не замечательная?

— Фу, ты господи! Вы тоже замечательная... в своем роде. Откровенно говоря, я в толк не могу взять, чего вы цепляетесь за свою гнилушку? Ведь я же вас не в конуру какую-нибудь переселяю, а тоже в новый дом и тоже со всеми удобствами!

Сухарькова потупилась, подумала и сказала:

— Я в этой гнилушке, товарищ Блескунов, двадцать пять лет оттрубила. Теперь надо хорошенько подумать... чтобы ни в чем не прогадать. А посоветоваться мне не с кем...— глаза у нее снова налились слезами.

— А я на что?!— весело отозвался Блескунов.—

Я ваш самый наилучший советчик, Аграфена Ильинична. (Он достал из ящика своего стола бумагу.) Вот извольте. Малый Кисельный, дом 16-а... отличная комната, ваши метры, даже чуть побольше, в малонаселенной квартире на шестом этаже.

— На шестой этаж не поеду.

— Там же лифт имеется!

— Они портятся, ваши лифты, а у меня — сердце. Могу показать справку поликлиники.

Сухарькова потянулась к своей сумочке, но Федор Павлович остановил ее:

— Не надо, верю и так!.. Тогда, вот еще... Колотушинский, восемь... новый дом... второй этаж... хорошая комната на солнечной стороне.

— Мне солнечная сторона противопоказана, у меня — нервная система в систематическом беспорядке. И тоже справка есть из поликлиники.

— Тогда... ладно уж, для вас на все иду. Берите... (тут Федор Павлович сделал паузу) отдельную однокомнатную квартирку... там же на Колотушинском... куколка — не квартирка!

— Не поеду в отдельную — жуликов боюсь.

— Да что вы говорите, Аграфена Ильинична?! — Федор Павлович развел руками. — Какие жулики?!

— Обыкновенные, про которых в газетах пишут. На последней странице. Подумают: кассирша — значит при деньгах, да еще одна проживает. Заберутся и придушат.

Федор Павлович посмотрел на Сухарькову — глаза у него были мученические, шалые — и сказал хрипло:

— Против жуликов замок можно навесить на дверь надежный, с секретом!

— Теперь таких замков не делают!

— Помогу — достанем.

Сухарькова неопределенно пожала плечами, и обрадованный Блескунов перешел в решительное наступление:

— Соглашайтесь, Аграфена Ильинична! Ведь такое счастье вам подвалило: не квартирка — куколка! При такой квартирке вы и супруга быстро себе подберете. Не забудьте меня-то на свадьбу пригласить! Завтра за ордером приходите, а послезавтра — переедете.

— А где я транспорт достану для переезда?!

— Поможем, обеспечим!

— Нет, послезавтра я не успею. Мне одной не управиться с вещами.

— Неужели у вас никого из родственников нет, чтобы вам помогли в этом деле?

— Есть племянник... да я с ним в ссоре.

— Заставлю помириться. Где племянник работает?

— В Главпродтранспорте, экспедитором!

— Позвоню в местком, в партийную организацию, — одним словом, нажму по всем линиям. Безобразия какое, — родную тетку родной племянник держит в таком забросе!.. Ну как, Аграфена Ильинична, договорились насчет квартирки?

Сухарькова с той же неопределенностью пожала плечами и поднялась.

— За ордером завтра приходите! — сказал Федор Павлович, с трудом сдерживая свою радость. — Без очереди получите, я дам распоряжение! До скорого свидания!

Сухарькова вышла. Федор Павлович тоже поднял-

ся из-за стола, с удовольствием потянулся. Ну, кажется, вытащил занозу!

Дверь отворилась, и в кабинет вскочила Лидочка. Кудряшки растрепаны, в глазах — искорки смеха.

— Федор Павлович, Сухарькова сейчас оступилась...

— Неужели ногу сломала?

— Нет, но просила вам передать, что за ордером не придет, потому что это плохая примета. Не к добру, говорит!.. Будете дальше граждан принимать?.. Ой, что с вами?!

Покачнувшись, Федор Иванович тяжело опускается на стул. Перед глазами его плавают темные круги, грудь пронизывает острая колющая боль. Заноза осталась и сидит крепко!



Жена с дочкой Иринкой, студенткой-первокурсницей, пошли в кино, а Сергей Петрович заупрямился и категорически отказался их сопровождать. Нужно кое-что проштудировать к завтрашнему совещанию да и голова побаливает.

Голова у Сергея Петровича не болела и штудировать было нечего. Просто захотелось побыть вечерок одному, посидеть перед телевизором, повалиться с книжкой в руках, а то вон та же Иринка совсем засрамила отца: «Ты, папочка, напрасно игнорируешь художественную литературу, это грозит тебе интеллектуальным и эмоциональным усыханием!..»

Повалиться с книжкой в руках Сергею Петрови-

чу, однако, не удалось. Только он, сбросив шлепанцы и уютно накрывшись халатом, расположился на диване, только, раскрыв свежую книжку толстого журнала, приступил к спасательному обводнению своего пере-сыхающего интеллекта, как зазвонил телефон.

Чертыхнувшись, Сергей Петрович недовольно поднялся, подошел к письменному столу, снял трубку:

— Слушаю!

— Сергей Петрович?

— Да! Кто говорит?

— Говорит Буканов!— ответила трубка жирно-рокочущим баском.

Сергей Петрович оторопел. Зачем Буканову — тому самому Буканову!— звонить ему, Сергею Петровичу?! Он, Сергей Петрович, правда, возвышается — и прочно возвышается!— на довольно видной ступеньке иерархической лестницы в своем управлении, но это именно только ступенька, а Буканов занимает, вернее, занимал самую высокую ее площадку, откуда не так давно и слетел. Вернее, спланировал. Под большим углом снижения. Куда его назначили-то? Кажется, в какой-то технический журнал!

— Сергей Петрович, куда вы пропали?— с легкой усмешкой сказала трубка тем же рокочущим баском, в котором Сергей Петрович вдруг уловил знакомые нотки. Ну, конечно, это Колька Солодов звонит, сослуживец, товарищ по институту. Его голос! До седых волос дожил, а не оставляет студенческие шуточки!

— Бросай, Колька, свою художественную самодеятельность!— ворчливо сказал Сергей Петрович.— Я тебя узнал.

— Меня, правда, зовут Николай, но я скорее Ни-

колай Григорьевич, чем Колька! — ответила трубка с той же жирноватой усмешкой.

— Слушай, неужели тебе не надоело паясничать?!

— Сергей Петрович, ей-богу, это говорит Буканов.

— Шутить, весь век шутить, как вас на это хватит! Из Демьяна Бедного. Про таких, как ты.

— Точнее, из Грибоедова, — поправила Сергея Петровича трубка, — про Чацкого, слова Софьи. Только там другой глагол стоит, Сергей Петрович. Не «хватит», а «станет». «Как вас на это станет!»

— Нет, именно хватит! — вскипел Сергей Петрович. — Хватит, кончай бодягу, Николай, надоело! Солидный мужик, отец семейства!.. Говори, что тебе нужно!

После секундной паузы трубка, хохотнув, сказала:

— А давай, Сережа, допустим, что тебе звонит действительно Буканов. Что бы ты ему сказал?

— Послал бы этого фанфарона подальше и повесил трубку!

— Разве Буканов... такой уж фанфарон?

— Фанфарон! — убежденно отозвался Сергей Петрович. — И к тому же груб, как утюг. Ты ведь на себе его грубость испытал? Забыл, как на парткоме дело разбиралось?

— Не забыл! — серьезно сказала трубка. — Даже помню, что ты, Сергей Петрович, сидел и молчал тогда. Ни одного слова в осуждение Буканову ты лично не произнес.

— Мы же с тобой, Коля, уже объяснялись по этому вопросу, — заторопился Сергей Петрович. — И я свою ошибку тут же признал. Смалодушничал!

Да, да — смалодушничал. Зачем ворошить старое?!

— Я хочу только сказать, что твое малодушие и Буканову тоже не пошло тогда на пользу,— сказала трубка.

Какой-то странный разговор! Куда гнет Колька Солодов? Непонятно!

— Знаешь, Коля, если серьезно говорить,— начал Сергей Петрович издалека,— то у Буканова были и свои положительные качества.

— Почему же тогда его сняли?

— Сверху виднее почему!

— Снизу тоже было видно! — сказала трубка.

— Ты имеешь в виду всю эту глупую шумиху с Громыхинским комбинатом?— спросил своего собеседника Сергей Петрович.

— Хотя бы!

— Да, тут дело пахло форменным очковтирательством. Мощности еще, собственно говоря, не освоены, а он бухает во все торжественные колокола. Ты помнишь, какую он речугу закатил на активе?!

— Помню!— мрачно сказала трубка.— Его тогда здорово раскритиковали — Буканова. Один только ты, Сергей Петрович, меня поддержал. Осторожненько, но все же поддержал. В общем, из редакции вам позвонят. До свиданья!

Минуты две Сергей Петрович сидел неподвижный, как собственное изваяние, держа в руке телефонную трубку, издававшую частые требовательно-визгливые гудки. Наконец очнувшись, положил трубку на рычаг и сейчас же снова снял и быстро набрал номер домашнего телефона Солодова:

— Николай, ты?

— Здорово, отец Сергей! Что скажешь?

— Ты мне сейчас звонил? Только без фокусов: да или нет?

— Нет! А что такое?

— Понимаешь... позвонил кто-то... назвался Букановым... плел всякую чепуху... что за шутки дурацкие.

— Почему шутки?! Мне он тоже звонил, приглашал сотрудничать в его журнале. Собирает, как он сказал, «живые силы» — теоретиков и практиков! Такой, понимаешь, стал демократ, куда там! А может быть, критика на него подействовала? Бывает ведь и так!

...Когда мать и дочь вернулись из кино, они застали Сергея Петровича сидящим на диване в позе глубоко задумавшегося человека. Раскрытая книжка толстого журнала лежала у него на коленях.

Иринка — худенькая, черненькая, похожая на графического бесенка — подошла к отцу, поцеловала его в щеку и сказала, смеясь:

— Вот видишь, папочка, как хорошо действует на тебя художественная литература.

— А что такое, Иринчик?

— Посмотри на себя в зеркало — у тебя лицо стало какое-то такое... просветленное. Что ты читал — стихи или прозу? Наверное, — стихи!

— Скорее... критику! — сказал Сергей Петрович и, чтобы перевести разговор на другую тему, с большей, чем обычно, обстоятельностью стал расспрашивать жену и дочь, что они видели в кино и понравилась ли им картина.



В щехе многие замечали, что Леша Струнников равнодушен к Даше Карпенко. Это бросалось в глаза.

На вечерах в заводском клубе, когда после киносеанса или лекции в нижнем фойе начинались танцы под духовой оркестр, Леша приглашал только Дашу.

В обеденный перерыв, когда молодежь собиралась на заводском дворе в жидкой тени юных тополей у фонтана, всегда получалось так, что Леша оказывался рядом с Дашей, а маленькая Дашина рука, прохладная и твердая,— в Лешиной, большой и жаркой.

Сама собой разгоралась песня.

Хороши весной в саду цветочки! —

запевала Даша высоким и чистым, радостным сопрано.

Еще лучше девушки весной! —

вторил ей Леша солидным басом и так выразительно смотрел при этом на нежную смуглоту Дашиной загорелой щеки, что каждому было ясно, какую именно девушку имеет в виду Леша Струнников.

Клава Прошина, всезнайка и хохотунья, Дашина приятельница, толкала соседей локтями и, показывая глазами на Лешу и Дашу, жарко шептала:

— Вот увидите — поженятся они. Через неделю, ну от силы через две. А что? Ребята хорошие!

Этот прогноз был близок к истине. Но для того чтобы он осуществился, Леша Струнников должен был объясниться с Дашей и сказать ей о своем чувстве.

А ему было очень трудно и даже страшно сказать девушке эти несколько магических слов и потом ждать ответа, от которого, как кажется в ту роковую минуту, зависит вся твоя жизнь.

Провожая Дашу после работы домой по узкой зеленой тропинке вдоль железнодорожной насыпи (завод стоял за городом), Леша Струнников не раз загадывал: «Вот дойду до той козы и... скажу все!» Но, поравнявшись с козой, привязанной на длинной веревке к колышку, Леша почему-то произносил другие слова.

— Посмотри, Даша, — говорил Леша, — какая смешная коза! Она смотрит с таким удивлением, как будто видит людей впервые в жизни.

И Даша отвечала:

— Действительно, эта коза смотрит на нас, как баран на новые ворота.

Они смеялись и шли дальше. И Леша, мысленно ругая себя за несвойственную ему нерешительность, думал: «Ладно! Вот у следующей козы обязательно скажу!»

Они приближались к следующей козе, и опять Леша говорил не то, что хотел сказать.

Так, от козы до козы, они подходили к белому уютному домику, в котором жила Даша с матерью, и здесь долго стояли, прощаясь, глядя, как крупные розовые мальвы в палисаднике клонят под ветром свои нарядные головки.

Потом Леша той же тропинкой шел к себе домой, и ему казалось, что те же самые козы с явной насмешкой пялят на него узкие, почти вертикально прорезанные глаза.

«Ничего!— утешал себя Леша Струнников.— Завтра обязательно скажу».

В цехе, где работали Леша и Даша, выходила стенная газета. Но это была особая газета. Она называлась «Поршень» и представляла собой большую красочную карикатуру с короткой хлесткой подписью под ней. Ох, и крепко же доставалось от «Поршня» бракоделам и лодырям, лентяям и растяпам!

Когда свежий номер «Поршня» появлялся на щите, вокруг него в перерыв сразу же собиралась толпа, и если карикатура была удачной, от дружного хохота рабочих, казалось, трясутся стены цеха. А очень часто бывало и так, что тот, над кем смеялся «Поршень», стоял здесь же у щита. В зависимости от характера и темперамента, он или почесывал в затылке и, криво улыбаясь, говорил: «Здорово прохватили, черти!» —

или сердился: «Чего смеешься? Гляди как бы сам в следующий номер не попал»;— или с жаром утверждал, что «Поршень» не прав и он это докажет «где надо».

А кончалось у всех одинаково. Потерпевший шел к редактору «Поршня», члену партийного бюро цеха, старому кадровику машиностроителю Ивану Спиридоновичу Голубину и говорил, опустив грешную голову:

— Спиридоныч, ты... того... распорядись, пусть снимут с «Поршня». Я даю слово — больше этого не будет.

— У нас норма: три дня тебе висеть,— отвечал неумолимый Иван Спиридонович.

— Уж больно он жжет крепко, твой «Поршень». Будто, извини, в крапиву голым сел.

— Ничего, посидишь, тебе такая припарка полезна!— усмехался строгий редактор.

Карикатуры для «Поршня» рисовал Леша Струнников. Он любил сложное и странное искусство карикатуры за его активное, прямое, наглядно осязаемое воздействие на жизнь.

Темы и подписи к карикатурам «Поршня» делал третий член редакционной коллегии, Лешин приятель, комсомолец Миша Заикин — стройный, с аккуратным пробором на голове паренек.

Шло заседание редколлегии «Поршня». Обсуждались темы очередных карикатур.

— Я предлагаю по растратчикам рабочего времени ударить!— решительно заявил Миша Заикин.— У нас некоторые девчата этим болеют. Еще гудка нет на перерыв, а они уже в душевой сидят. И после перерыва многие полощутся в воде, как утки. Минут по пять, а то и по десять вырывают из рабочего дня.

Даша Карпенко особенно этим болеет. По ней и надо ударить, по Дашеньке!

— Почему же именно по Дашеньке?— сказал Леша Струнников, бледнея.

— Я же тебе говорю: она главная, конкретная носительница зла. У меня материал на нее есть.

— Но, с другой стороны, чистота—залог здоровья!—неуверенно сказал Леша Струнников.

— Пускай она свою чистоплотность не за счет рабочего времени доказывает. И почему ты вообще ее защищаешь?!

Леша густо покраснел.

— Ты, брат, ее не защищай, не защищай!— продолжал наседать на приятеля безжалостный Миша Заикин.— Мало ли какие у тебя могут быть к ней личные чувства. Раз она конкретная носительница — кончено! Никаких личных чувств не может быть! Бери свой быстрый карандаш — рисуй ее в анфас и в профиль. Все! Правильно я говорю, Иван Спиридонович?

Голубин посмотрел на растерянного карикатуриста и, скрывая улыбку, сказал:

— Я считаю, Миша тему правильно наметил. Мы за быструю оборачиваемость средств боремся, за всяческую экономию, а они, сороки,— ну-ка посчитай!— сколько народных рубликов прополаскивают; если эти душевые минуты в деньги перевести?! Давай рисуй Дашу, всыпь ей, гладкой, как следует, чтоб другим неповадно было.

В этот день Леша не пошел провожать Дашу. Прямо из цеха он отправился в клуб, где для него была

отведена маленькая комнатка, которую Леша гордо называл «моя мастерская».

Через три часа карикатура на Дашу Карпенко была готова. На рисунке Даша, скрытая перегородкой так, что видны были только голова и ступни ног, стояла под душем с банным веником и поднятой, как бы для приветствия, правой рукой. Милый вздернутый Дашин носик превратился на рисунке в нахальный курносый носище, рот был растянут до ушей, прелестные карие Дашины очи на рисунке напоминали автомобильные фары. И все-таки это чудище с веником было Дашей. Недаром Леша Струнников часами просиживал в библиотеке над работами мастеров карикатуры!

Вошел Миша Заикин, посмотрел на рисунок и захохотал.

— Похоже?— мрачно спросил Леша Струнников и тяжело вздохнул.

— Вылитая Дашка!— пылко воскликнул Миша.— Это лучшая твоя карикатура! Обожди, я сейчас к ней стишки припаяю.

...На следующий день к началу обеденного перерыва свежий номер «Поршня» с карикатурой уже висел на щите.

Сейчас же вокруг него собрались рабочие. Подошла и Даша. Улыбаясь хохочущим товарищам, вытирая на ходу руки (она уже успела побывать в душе), ничего не подозревая, она спросила:

— Кого прохватили, ребята?

— Тебя!— ответило ей сразу несколько голосов.— С легким паром, Даша!

Толпа расступилась. Даша подошла вплотную к щиту и увидела улыбающееся чудище с веником.

— Совсем не похожа! — сердито сказала Даша, продолжая от растерянности улыбаться.

Но, увы, красная, с бегающими глазами и с этой нелепой улыбкой на губах, она стала так походить на свой шарж, что зрителей потряс новый взрыв хохота.

Даша выбежала из цеха.

Было совсем поздно, когда Леша Струнников подошел к Дашиному домику. Он тихо отворил калитку, вошел в палисадник. Даша сидела на скамейке под вишней.

— Можно к тебе? — робко спросил Леша.

Даша пожала плечами и ничего не ответила. Некоторое время они сидели молча. Потом Леша сказал: — Даша, ты пойми, что я только...

Но Даша не дала ему закончить фразу. Она вдруг бурно всхлипнула, заговорила бессвязно и страстно:

— Я думала... ты меня любишь... И все так думали... Клава Прошина меня так уверяла: «Вот увидишь, он с тобой на днях объяснится!» Объяснился!.. Спасибо!..

— Обожди, Дашенька, дай сказать! — умолял ее Леша, но Даша его не слушала.

— Если ты меня разлюбил, должен был прямо сказать, а не через «Поршень».

— Дашенька, но ведь это же общественное дело!

— Я понимаю, что общественное... И понимаю, что я виновата... Но зачем ты меня такой уродливой на-малевал?

— Это же карикатура, Даша!

— Я знаю, что такое карикатура, я не дурочка...

Карикатуры разные бывают... У меня нос классический, даже древнеклассический — все знают! А ты что с ним сделал?

— Дашенька, но ведь он у тебя только до половины древнеклассический, а потом он неожиданно загибается кверху и становится древнерусским.

— Нечего смеяться! Нарисовал ведьму, каких свет не видал! Смотрите, мол, люди добрые, разве можно такую уродину любить?

— Можно!— сказал Леша, привлекая к себе Дашу.— Можно, Дашенька!

...А утром Даша Карпенко и Леша вместе подошли к Ивану Спиридоновичу, и Даша жалобно сказала:

— Иван Спиридонович, снимите меня с «Поршня». Я даю честное слово, что этого больше не будет.

— У нас норма — три дня тебе висеть!— ответил, как обычно, сурово Иван Спиридонович.

— Я за нее ручаюсь,— сказал Леша, краснея.

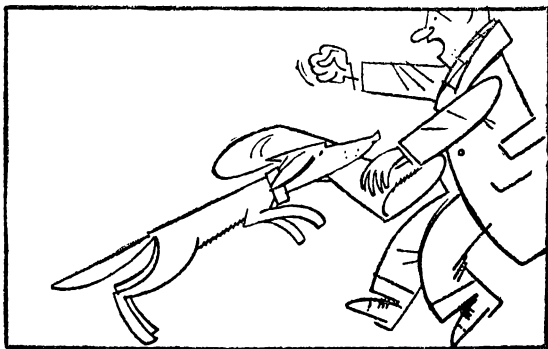
— Это почему же так?

— Потому что я... в общем, женюсь на ней... Ну, и ручаюсь как за жену... что никогда ничего такого с ней больше не повторится.

Строгий редактор посмотрел на смущенного художника, потом на сияющую Дашу и тоже почему-то смутился. Он подумал, что ему, старику, познавшему всю горечь и уродство старой жизни, нужно сейчас сказать что-то важное и значительное стоявшим перед ним молодым людям. Но надо было приступить к работе, и он сказал просто:

— Ну, что же, в добрый час, как говорится! Ладно, так и быть, снимем тебя, Дарья, раньше срока со щита. Пусть это будет тебе свадебным подарком от «Поршня».

КАК РУХНУЛ КАРДАМОНОВ



Вот какая история, довольно забавная и, как мне кажется, поучительная, произошла не так давно в одном северном городе, называть который в данном случае необязательно.

Жил и трудился там некто Кардамонов Петр Михайлович, мужчина, как говорится, в самом соку и притом обладавший этакой бело-румяной дородной представительностью. Самой природой, казалось, он был как бы уготован для занятия ответственных должностей.

И действительно, Петр Михайлович входил в местную номенклатуру, то есть принадлежал к тесному кругу тех работников, которые неизменно нечто возглавляют.

Кардамонов возглавлял в городе сначала кирпичный завод, потом городское аптекоуправление, затем крупорушку, затем еще что-то и еще, вплоть до отделения Книготорга.

Но где бы ни сидел Петр Михайлович, что бы ни возглавлял, а кончалось дело у него везде одинаково: беднягу «освобождали». Правда, без особого шума и треска. Просто выяснялось, что у Кардамонова, кроме его бело-румяной дородности, других данных для занятия должности руководителя нет. Ни знаний, ни умения сплотить коллектив, ни энергии, ни инициативы — ничего. Явление это — не новое. Мы, сатирики, о таких, как Кардамонов, много писали, но, увы, Кардамоновы существуют и по сей день.

Надо сказать, что Петр Михайлович был человеком безукоризненной честности, добродушным и симпатичным. Товарищам, от которых зависела его должностная судьба, не хотелось обижать его. После очередного провала Кардамонов, проваландавшись некоторое время «в резерве», снова неизменно оказывался на коне, а точнее, — в руководящем кресле.

Тут еще известную и далеко не последнюю роль играла супруга Кардамонова — Раиса Матвеевна, зубной врач по профессии. Она была отличным специалистом, и городские руководители лечили свои зубы только у нее, в лучшей поликлинике города.

Сидя в зубоврачебном кресле с распахнутым настежь ртом, работник, от которого «очень многое зависит», покорно и доверчиво отдавал свои челюсти во власть пухлых и ловких ручек Раисы Матвеевны, вооруженных зловещими инструментами ее профессии. А Раиса Матвеевна, уютная, полная, в чистейшем бе-

лоснежном халате, ласково ворковала у него над ухом.

— Этот зубик у вас имеет маленький кариозик... Я буду очень остороженько, не волнуйтесь!.. (И совсем уже сладчайше.) Петрушу бы моего... куда-нибудь, совсем истосковался мужчина!.. Будет больно, мигните, но рот не закрывайте.

Работник, от которого «очень многое зависит», мигал и мычал нечто благосклонное распахнутым ртом... и спустя некоторое время Петр Михайлович снова вдевал ногу в стремя номенклатурного седла.

Однако после того, как Кардамонова освободили от Книготорга, ему пришлось туго. В разговоре с комсомольцами, которые обследовали книжные магазины города, Петр Михайлович наговорил много лишнего: Элизу Ожешко назвал Лизой Орешко, Джека Лондона — Джеком из Лондона и совершенно банально запутался в трех русских Толстых. К тому же выяснилось, что книжные магазины не выполняют торговый план, в то время как в подвалах пылятся самые ходкие книжки. Когда в городских инстанциях обсуждали положение дел в Книготорге, там стало известно о неловкой беседе Петра Михайловича с комсомольцами, и это повлекло не только смешки и покачивания головой, но даже гнев у некоторых.

Кто-то сказал:

— Довольно нам уже нянчиться с этим... обалдуем. На низовую его надо послать. Не справляется человек, что же делать?!

Но в эту секунду у работника, от которого «очень многое зависит», к счастью для Кардамонова, вдруг заныл под коронкой зуб. Поморщившись и поелозив языком по больной десне, товарищ подумал, что завт-

ра, пожалуй, придется поехать в поликлинику к милейшей Раисе Матвеевне, и внушительно поправил гневного оратора:

— Ну, особенно-то торопиться с выводами не следует. Ведь живой же человек! Давайте подержим его пока в резерве, посмотрим. И ему тоже будет польза: пусть пока подчитает художественную литературу, восполнит свои, так сказать, пробелы.

На том и порешили.

А тут вскоре освободилось место директора крупной базы промышленных товаров, и Кардамонова послали ее возглавлять. Интересно, что работник, который назвал Петра Михайловича «обалдуем», когда обсуждались дела Книготорга, на этот раз первый поддержал его, сказав:

— Подходящая кандидатура! Он, конечно, далеко не Кант, но человек безупречной честности. А туда именно такого надо.

Через пять месяцев Петр Михайлович оказался под судом. Нет-нет, сам он никакими махинациями не занимался и остался чист, как снег горных вершин! Махинациями занимались его подчиненные и ближайшие помощники. Они ловко пользовались наивностью, доверчивостью и безмятежной до святости неосведомленностью Петра Михайловича в таких скучных материях, как учет и бухгалтерия.

Кардамонову, однако, тоже угрожала опасность наказания по статье уголовного кодекса, карающей за халатность, но на суде выяснилось, что Петр Михайлович много занимался воспитательной работой на базе и даже сам лично делал доклад на тему о моральном облике торгового работника — в общем, старался, как мог. Это приняли во внимание, и Кардамонов

по суду был оправдан. Тем не менее с поста директора базы ему пришлось уйти, и снова он оказался «в резерве».

На этот раз пребывание Кардамонова вне местной номенклатуры сильно затянулось. То ли зубы у работников, от которых «очень многое зависит», не боле-ли, и к Раисе Матвеевне незачем было обращаться, то ли по другой какой причине, но Петра Михайловича стали кормить «завтраками» и «послезавтраками».

— Зайдите завтра!.. Позвоните послезавтра! Подумаем! Посоветуемся!

А когда Петр Михайлович приходил в назначенный день, ему говорили:

— Придется тебе, Петр Михайлович, еще потерпеть. Тут Синякин из Утильсырья вроде как собирается на пенсию. Место тихое, спокойное, мы тебя туда... планируем. Отдыхай пока!

И Петр Михайлович отдыхал, добавляя свежих красок к своей боярской бело-румяности.

От безделья и душевного неблагоустройства мужчину, как известно, неудержимо тянет к выпивке. И Петр Михайлович стал выпивать. Не сильно, а, как говорится, «в пропорцию».

Однажды, когда он в состоянии среднего подпития возвращался домой с дневной прогулки, у него и произошла встреча, оказавшаяся для него роковой. Навстречу Кардамонову неторопливой рысцой бежала по тротуару овчарка светло-серой масти с классической черной полосой на спине. В зубах овчарка держала пару валенок, воткнутых один в другой.

Петр Михайлович увидел собаку с валенками в зубах, подозрительно прищурился, и в его мозгу,

подогретом алкоголем, вспыхнула странная, но удивительно острая мысль.

— Стой! — крикнул Кардамонов собаке.

Овчарка остановилась и в свою очередь поглядела на прохожего подозрительно и настороженно.

— Где вы сперли валенки, собака? — сказал Петр Михайлович строго, совсем как тот прокурор, который допрашивал его на суде.

Высокие уши овчарки напряглись, стали прямо. О чем она подумала? Конечно, нельзя называть мыслями то, что происходило в мозгу собаки, но если сделать некоторый допуск, то подумала овчарка вот о чем:

«Что от меня нужно этому толстому дядьке? Уж не подбирается ли он к валенкам хозяйки, которые я должна отнести домой из магазина, как мне было приказано».

И она, покосившись на Кардамонова, побежала дальше. Но Петр Михайлович догнал собаку и снова преградил ей дорогу, вытянув руки крестом:

— Отвечай, тварь, где взяла валенки?

Овчарка глухо и грозно зарычала, еще крепче сжав в зубах ношу хозяйки.

Вокруг человека и собаки стала собираться толпа.

— Что случилось?

— Ничего особенного. Пьяный пристал к собаке!

— Господи, собакам и тем проходу не дают!

— Глядите, у собаки валенки в зубах. Интересно, где давали?

— Спросите у собаки!

— Гражданин, оставьте собаку в покое! Выпили, ну и идите себе.

— Пустые ваши слова, — с горечью отозвался на

этот добрый совет Кардамонов, которого «разбирало» все больше,— тут, может быть, происходит расхищение социалистической собственности... при помощи специально обученной собаки, а вы... позволяете разные насмешки.

Он вцепился обеими руками в валенки и стал рывками тащить их к себе из пасти овчарки. Собака рычала, судорожно сжимая железные челюсти. Но она уже была близка к тому, чтобы нарушить приказ хозяйки, бросить ношу и вцепиться в горло обидчика.

На счастье Петра Михайловича, на месте происшествия появился милиционер, толковый молодой парень, бывший пограничник. Он оттащил человека от собаки, последнюю храбро взял за ошейник, а первого под руку, и они все трое отправились в ближайшее отделение милиции.

Дежурный по отделению быстро разобрался с делом. Собака — со всяческими комплиментами — была передана ее хозяйке, прибежавшей в милицию следом за Кардамоновым и овчаркой, а Петра Михайловича по случаю ремонта помещения городского вытрезвителя пришлось оставить до утра в отделении.

Только через месяц, когда все улеглось и забылось, Кардамонов пошел узнать, долго ли еще он будет пребывать в резерве и когда же наконец его вернут под сень родимой номенклатуры.

Встретили его очень сухо и дали понять, что после уличного поединка с собакой и заметки в газете он не может рассчитывать на занятие ответственной должности. Он общественно скомпрометирован и должен это понять. Вот разве что в отъезд... Но вряд ли Раиса Матвеевна согласится уехать из города, где ее так любят и где она так нужна. В общем, надо идти на «ря-

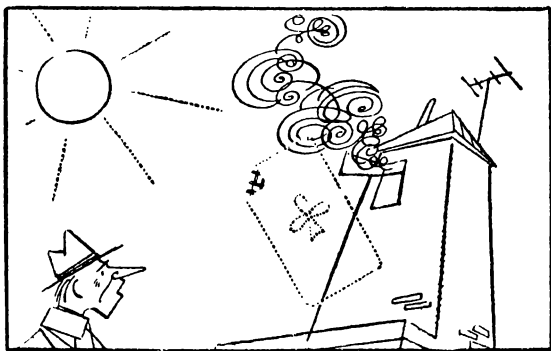
довую». Петр Михайлович обещал подумать и ушел совершенно обескураженный.

Когда дверь за ним закрылась, один из говоривших с Кардамоновым работников сказал весело:

— Наконец-то мы покончили с этим обалдуюем. Нужно сказать спасибо собаке, которую он тогда встретил. Не будь собаки — мы бы до сих пор с ним возились!

— Недаром говорится, собака — друг человека! — подхватил шутку другой, и все, находившиеся в комнате, засмеялись.

А надо бы плакать!



Вдвухместном купе жесткого спального вагона скорого поезда сидят двое пассажиров — двое мужчин средних лет.

Один — худощавый, нервный, с расстроенным желчным лицом, другой — плотный, благодушный, пышущий здоровьем.

Худощавый непрерывно курит, вздыхает, покачивая головой. Видно, что его беспокоят какие-то неприятные, даже жгучие, мысли.

Благодушный здоровяк не выдерживает:

— У вас, однако, больной вид. Что с вами?

Худощавый отвечает на вопрос вопросом:

— Вам чувство самокритики знакомо?

Здоровяк улыбается:

— Бывает! После собрания. Когда пропесочат как следует!

— Я о другом... когда вот здесь (худощавый крепко ударяет себя ладонью по петушиной груди) кипит собрание и такие ораторы высказываются... что хоть в петлю!

— С вами что-нибудь случилось?

— Случилось!

— Расскажите! — просит здоровяк.

Худощавый смотрит в окно на несущиеся навстречу столбы и елки и молчит.

— Человек я вам незнакомый и, следовательно, объективный, — настаивает здоровяк, изнемогая от любопытства, — вам легче станет, когда поделитесь.

— Может быть, может быть! — бормочет худощавый и тушит в пепельнице недокуренную сигарету. Набрав в легкие воздуху, словно перед нырянием, он говорит: — Ну, слушайте! Во всем была виновата форточка!..

— Форточка? — удивляется здоровяк. — А я, признаться, думал, что вы скажете: «Во всем была виновата женщина!»

— Нет, именно форточка. Вы меня, пожалуйста, не перебивайте, а то я не стану рассказывать.

— Извините — вырвалось! Повесил уши на гвоздь внимания и молчу! Рассказывайте!

Худощавый нервно погладил себя по коленкам и начал свой рассказ.

— Фамилия моя Сушкин, зовут Петр Петрович, я периферийный работник, где и кем я работаю, для рассказа значения не имеет... И вот приезжает, значит, этот самый Сушкин в столицу нашей Родины — в Мо-

скву в командировку сроком на десять дней... В Москве он не был давно, но всем сердцем, так сказать, стремился!.. Поезд прибыл в шесть утра, чемоданишко у Сушкина легонький, он и решил пройтись по столице пешочком, благо знакомые, у которых он намеревался остановиться, жили не очень далеко от вокзала.

Идет, значит, наш Сушкин по утренним, свежим улицам, помахивает чемоданчиком и любитесь просыпающейся красавицей Москвой. А хороша она была в то утро — слов нет передать! Новые дома то тут, то там этак горделиво высятся, словно говорят Сушкину: «Полюбуйся, какие мы молодцы!..» Павильоны всякие из сплошного стекла подрумянены зорькой — любодорого смотреть!.. Чистота, умытость и какая-то удивительная бодрость вокруг разлиты!.. Москва, одним словом! Идет Сушкин и думает: «Обязательно я тебя, голубушка, всю обегая, осмотрю!» — затем сворачивает в тихий переулок и вдруг замечает, что из форточки одного дома напротив на пятом этаже валит подозрительный дымок.

— Дымок? — не выдерживает здоровяк.

Сушкин кивнул головой:

— Даже я бы сказал, дым. Зловещая картина на фоне общего благополучия и мирной красоты!.. Сушкин во двор дома: где дворник? Нет дворника! А дым продолжает, так сказать, клубами всходить к небесам. Что делает Сушкин?

— Бежит к ближайшей будке телефона-автомата и вызывает пожарную команду! — подсказал здоровяк.

— Точно! — сказал Сушкин.

— Быстро приехали пожарники?

— Почти мгновенно!

— И потушили?!

— Я просил не перебивать меня! — строго сказал Сушкин. — Поднялся, значит, Сушкин с пожарным начальником на пятый этаж, звонят. Выходит недовольный мужчина с желтым одутловатым лицом, запущенно-небритым. «В чем дело?» — «Вы же, гражданин, горите!» Усмехается: «Горю, но не так, как вы думаете!» Проходим с ним в комнату и видим: за столом сидят еще двое мужчин, один совсем мальчишка, второй — вроде меня, с картами в руках и с папиросами в зубах, на столе — пепельницы и глубокие тарелки, полные окурков, и разграфленный лист бумаги, исписанный цифрами. Картинка ясная: всеобщий, зверский преферанс! Жена на курорте, а небритый супруг развлекается... хоть уже и сидит без двух при «птичке».

— Попало вам за ложный пожарный вызов?

— Начальник сделал внушение, но простил, принял во внимание, что я приезжий. А мужикам-преферансистам сказал так: «Курить, граждане, надобно поаккуратней. Не всем сразу, а по очереди. Мы, — сказал он, — у себя так делаем: кто сдает — тот и курит...» Ушел пожарник, а Сушкин задержался на предмет пространных извинений. И вдруг хозяин квартиры его перебивает и говорит: «Вы сами-то в преферанс играете?..» — «Играю помаленьку!» — отвечает Сушкин. Тогда хозяин обращается к своим партнерам и радостно объявляет: «Товарищи, дорогие, — так вот же четвертый! Сам бог послал! Давайте эту пульку разделим и начнем новую, потому что втроем это не игра, а одни слезы!» И к Сушкину: «Садитесь, и с богом!» — «Помилуйте, уже поздно... вернее, уже рано!» — «Тем более, куда уж ложиться?» Партнеры его тут же подержали. Пожилой сказал, что он отсюда прямо отпра-

вится на совещание и там, дескать, выпится, а этот почти мальчишка заявил, что он предусмотрительно запасся бюллетенчиком...

Рассказчик помолчал, горестно потянул носом воздух и сказал:

— Жестоко тогда я проигрался... Ну и пошло... день за днем! Москвы, можно сказать, не видел и даже не понюхал!.. Как мечтал, когда ехал, окунуться в культурную жизнь столицы. Окунул, нечего сказать! Каждый вечер... с этими живоглотами. И до утра! А их, например, спросишь: «Трудно сейчас достать билет в Большой театр?» — отвечают: «Не знаем, мы в театры не ходим, нам некогда, днем на работе, вечером — пулечка!..» Все подотчетные ухнул, у знакомых позанимал и все туда же... в форточку! Теперь предстоит неприятные объяснения по линии супружеской бухгалтерии, потому что перед своим домашним бухгалтером мне никак не отчитаться!..

Сушкин еще помолчал и добавил:

— Но не так даже денег жалко — хотя, конечно, и жалко! — как жаль потерянного времени. Ведь тупое же и бессмысленное занятие!.. Правильно говорят, что карты — низменная и грубая страсть, недостойная культурного человека.

— Это верно! — согласился с ним здоровяк. — У меня после пульки всегда появляется такое ощущение, будто я поглупел во время игры на какой-то там градус!

— Точно! — подхватил Сушкин. — Встаешь из-за стола форменным дурнем... в особенности если при этом проигрался в пух! А на здоровье как вредно отражается.

В дверь купе из коридора осторожно постучали, и

сейчас же дверь поехала в сторону, и в проеме возникла мужская фигура,

Фигура ласково улыбалась и держала в руке колоду карт.

— Нет ли, товарищи, желания сгонять пулечку? Ищем партнера!

— Здесь дурней нема! — сухо сказал Сушкин. — Закройте дверь!

Но его попутчик конфузливо (так показалось Сушкину) улыбнулся, пробормотал: «Можно, пожалуй, одну пулечку сгонять, маленькую!» — поднялся и, не глядя на Сушкина, вышел из купе...

Сушкин посидел один, помучился и... вышел следом за ним!

В соседнем купе все было приготовлено для игры: уже был и чемодан поставлен на попа, и лист бумаги разграфлен, и трое мужчин уже дымили вовсю папиросами.

Благодушный здоровяк собирался сдавать карты, но, увидев Сушкина, бросил стасованную колоду на чемодан и радостно сказал:

— Ну вот, слава богу, и четвертый партнер появился! Хорошо, что еще не начали!

Один из игроков, усатый, с лицом серым и тяжелым, как плотно набитый мучной мешок, глубокомысленно прогудел басом:

— Втроем играть — только карты бить!

Быстро разыграли сдачу. Сдавать вышло Сушкину.

Карты он бросал вкривь и вкось, пальцы у него дрожали, и лицо было несчастным, как у алкоголика, когда он пьет первую рюмку.



Окна в клубном зале раскрыты настежь, и музыка выплескивается прямо на улицу, на темную, свежую, еще не пропылившуюся зелень молодых лип. И музыка эта такая радостная, такая подмывающая, что, кажется, еще минута — и даже строгие уличные фонари не устоят на месте и, склонив матовые головы, каждый перед своей липкой почтительно проскрипят:

— Разрешите вас пригласить!..

Самодетельный молодежный оркестр старается изо всех сил, льняной хохолок на лбу его создателя и дирижера Кости Проценко взмок и потемнел, галстук вырвался на свободу и бьет Костю по плечу при каждом неистовом взмахе его рук, но широкая, довольная улыбка не сходит с по-

красневшего, усталого Костиного лица. Бал определенно удался, все танцуют, скандальных происшествий не было и нет и, видимо, уже не будет. Что же еще нужно для простой и доброй Костиной души?!

То и дело, прерывая танец, танцоры топчутся подле дирижера, выкрикивая свои просьбы, иначе он, оглушенный громом музыки, не услышит их.

— Костя, будь другом, дай там что-нибудь такое... Понимаешь?!

И Костя Проценко, продолжая дирижировать, полубернувшись, кричит им в ответ:

— Сейчас дам полечку и вальсик... для нормы, понимаешь?! А потом... что-нибудь такое!..

Бал костюмированный, но танцоры одеты кто во что горазд. Но хотя одеты они по-разному и лица у них разные, однако, если приглядеться, что-то есть общее между ними. Наверное, так кажется потому, что эти молодые, непохожие одно на другое лица выражают общую непринужденную веселость и озарены светом внутренней интеллигентности.

Оркестр сыграл польку, сыграл вальс и грянул обещанное Костей «что-нибудь такое».

Железный стремительный ритм. Четкий, как перестук кузнечиков в знойный летний день. Не усидеть на месте, ноги сами начинают его выбивать.

Сразу стало тесно, жарко и очень весело. И наверное, поэтому никто вначале не обратил внимания на вошедшего в зал молодого человека в синем бостонском костюме с пестрым галстучком на белой шелковой подкладке — в просторечии такие галстуки называют «галстук в подштанниках».

Он остановился в дверях, послушал музыку, посмотрел, как танцуют. Выражение значительности на его

лице сменилось выражением беспокойства и неодобрения. Он покачал головой и стал еще внимательней присматриваться к танцующим, пока, наконец, не увидел ту, которую хотел увидеть.

Она была в белом, бальном, сильно декольтированном платье. Тонкие плечи обнажены, на полудетской груди выступали крупные ключицы. Скуластенькая, с простым и милым личиком рабочей девчонки — певуньи и озорницы. На модной прическе шлемом с начесами на уши чудом держится маленькая золотая картонная коронка. Он — низкорослый, коренастый, добродушно-курносый блондинчик в костюме испанского гранда. Черный бархатный камзол с пышным кружевным воротником, на мускулистых коротковатых ногах туго — вот-вот лопнет! — натянуто белое трико, сбоку в клеенчатых ножнах болтается недлинная шпага. Танцуют они с неистовым азартом, вдохновенно. В синих, широко расставленных глазах девчонки светится самозабвенное упоение балом. Спросите ее, что она сейчас танцует, девчонка не ответит! Она танцует самое себя, танцует каждой клеточкой своего тела.

Молодой человек в синем костюме, с пестрым галстучком между тем пробирается через весь зал к танцующей паре. Его узнали. Со всех сторон несется:

— Здравствуйте, товарищ Мозговой.

— Извините, товарищ Мозговой!..

На приветствия и извинения он не отвечает, а когда сам толкает танцоров, то не извиняется перед ними.

И вот он в ястребином своем полете настиг, наконец, девчонку в бальном платье с коронкой на голове, осторожно взял ее за голый локоть.

— Одну минуточку!

Обернулась. В синих глазах — удивление.

— Что вам нужно?

— Поговорить нужно с тобой. Разговор серьезный! Пройдем-ка!..

Ее гранд рыцарски выпятил грудь.

— А в чем, собственно, дело, товарищ Мозговой?

— Тебя не касается, Шурыгин. Ты можешь продолжать!

...«Серьезный разговор» происходит в маленькой гостиной рядом с танцевальным залом.

Разговаривают втроем: Шурыгин не пожелал оставить свою даму наедине с грозным товарищем Мозговым. Пришел и застыл у стены, рядом с зеркалом, держит руку на эфесе своей шпажки. Мозговой долго смотрит на девчонку с картонной коронкой на голове, потом, наконец, разжимает рот:

— Ты кто?

Девчонка пожимает голыми, озябшими под этим пристальным недобрым взглядом плечами. Неужели «ему» неясно, кто она?

— Принцесса! — улыбаясь, говорит она тихо.

В ответ язвительная усмешка.

— Та-а-ак! Где ты работаешь, принцесса?

— На химкомбинате.

— Фамилия как?

— Снегирева. Клава.

— Комсомолка?

— Комсомолка.

Тяжелый вздох. В глазах у товарища Мозгового — отеческая суровость.

— Разнузданно танцуешь, Клава Снегирева! Смотреть на тебя неприятно! Коробит!.. Понимаешь?

Принцесса оборачивается к своему гранду.

— Слышишь, Вася? Оказывается, я разнузданно танцую!

Гранд хмурит белесые брови, густо краснеет.

— А по-моему, товарищ Мозговой, Клава танцует очень хорошо.

— Нам просто очень весело! — в голосе у Клавы Снегиревой дрожат слезы. — А когда тебе весело, то и танцуешь весело, от души! Правда, Вася?

— Правда, Клава.

Еще более тяжелый вздох. В глазах у товарища Мозгового — непреклонное осуждение.

— Просто очень весело! — он делает презрительный жест. — Вот так все и начинается!

Он переводит взгляд на Васю Шурыгина.

— И ты тоже... хорош! Девушка нарушает в танце с тобой общепринятые нормы скромности, откровенно западничают... поправь ее, объясни, приструни потоварищески, в конце концов!

— Товарищ Мозговой, да я не нахожу...

— Помолчи!.. И не защищай ее! Тоже мне — рыцарь. Оделся грандом и сразу забыл, что он — комсомолец, ударник производства... борец за новую мораль. Ему, видите ли, «просто очень весело»! Хромает у вас на комбинате воспитательная работа, на все четыре ноги хромает!..

По щекам Клавы Снегиревой уже катятся откровенные мелкие, частые слезинки. Вася Шурыгин — благородный испанский гранд — потупился и молчит. Мозговой видит, что он переборщил, и уже сам не рад, что затеял этот нелепый, «серьезный разговор».

— Ну ладно! — говорит он уже другим, не работочным, а своим нормальным человеческим голосом. — Чего это вы так... ошетинились, ребята?!

Идите, танцуйте, но... учтите мое замечание!

И в эту минуту в гостиной появляется пожилая гардеробщица в форменной куртке с зеленым воротником и обшлагами. В руках у нее сверток, перевязанный толстой бельевой веревкой.

— Я вас в зале искала, товарищ Мозговой! — объявляет она умильно. — А вы туточка, оказывается! Костюмчик вам принесла. Вы уж извините, товарищ Мозговой, — все, что осталось у нас!..

Товарищ Мозговой берет у нее сверток, развязывает веревку: оставшийся костюмчик — это монашеская ряса, веревка полагается к ней как пояс. Поколебавшись секунду, он быстро надевает рясу и, подпоясавшись бельевой веревкой, подходит к зеркалу.

Пестрый «галстук в подштанниках» не очень-то гармонирует с грубой рясой бродячего францисканца, но если его прикрыть... Мозговому нравится его отражение! Он оборачивается к Клаве Снегиревой и Васе Шурыгину. На его лице снова появилось выражение надутой значительности.

— Ну как, ничего? — спрашивает он у молодых людей и тут же сам себе отвечает: — Сатирическое разоблачение служителей культа. По-моему — здорово! Как по-твоему, Снегирева?!

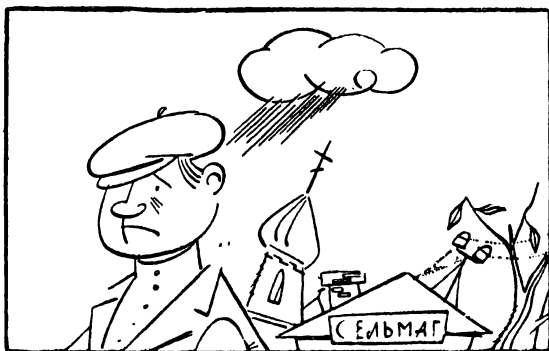
Клава Снегирева, потушив улыбку, кивает головой:

— Очень здорово, товарищ Мозговой.

— В самую точку! — подтверждает Вася Шурыгин.

— Пошли танцевать! — командует Мозговой. — Только корону эту свою сними. На черта она тебе нужна?! И косынкой хоть прикройся!

...Оркестр в зале играет чинный, добропорядочный, скучный, как прошлогоднее расписание дачных поездов, дедушкин и бабушкин танец — падепатинер.



При лавке имеется каморка — крохотная фанерная нора без окон, отделенная от других помещений перегородкой, тоже фанерной.

В нору втиснуты кухонный колченогий стол, накрытый зеленой, выцветшей, залитой чернилами бумагой, и два стула: один — для посетителей, другой — для Ивана Трифоновича, заведующего лавкой, или «потребилровкой», как называют его торговую точку в селе.

На столе стоит телефон и перекидной календарь. Тут же лежат большие счета.

На двери, ведущей в каморку, кнопками прикреплен кусок картона, на нем рукой самого Ивана Трифоновича написано крупно и четко:

Заведующий И. Т. Макаев.
Прием граждан по мере надобности.

Иван Трифонович называет каморку своим кабинетом. Если в лавке недовольный чем-либо покупатель поругается с продавщицей Фросей, миловидной капризной бабенкой с зелеными кошачьими глазами, Иван Трифонович, бросив на бушующую Фросю строгий предупредительный взгляд, говорит так:

— Ефросиния Сергеевна, заткните фонтан вашего красноречия, прошу вас убедительно!

И — к покупателю:

— А вас, гражданин, попрошу пройти ко мне в кабинет для уточнения ваших претензий, чтобы не нарушать нормальный процесс торгового оборота!

Такая изысканно-строгая манера речи обычно ошеломляет самого крикливого и самого нервного покупателя. Он сует подозрительно легковесный брусок мыла, из-за которого разгорелся весь сыр-бор у него с Фросей, в авоську и молча уходит из лавки, не нарушая «нормального процесса торгового оборота».

Гипноз официальных слов действует безотказно.

Сейчас Иван Трифонович принимает в своем кабинете старуху Анну Ивановну Гальчихину (она же бабка Гальчиха), особу в селе известную.

Гальчиха — член церковной «двадцатки» — пользуется у верующих сельских старух и стариков большим авторитетом, характер у нее властный, жесткий и ее побаивается даже сам местный священник — молодой, пузатенький отец Кирилл.

Гальчиха сидит на стуле, одетая во все черное, пря-

мая, тощая, со сросшимися на широкой переносице черными бровями, и ведет с заведующим потребиловкой тонкий дипломатический разговор. Пришла она в кабинет к Ивану Трифоновичу не «уточнять претензии», а совсем по другому, деликатному, делу.

— Ваш Илья-пророк, уважаемая Анна Ивановна,— вкрадчиво и, как ему кажется, очень убедительно говорит Иван Трифонович, иронически шурясь,— есть миф, то есть ничто. Одно ваше воображение, пустой звук!

— Звук-то звук, да не пустой! — обижается за Илью-пророка бабка Гальчиха. — Не грехи, батюшка, на Илью, а то он тебя накажет. В ильин день завсегда гроза грешников бьет. Не посмотрит Илья, что ты партийный, да и даст тебе звуком по затылку!

— Во-первых, у меня и в лавке громоотвод и дома громоотвод, а во-вторых, все зависит от прогноза погоды, а не от вашего Ильи!

— Прогноз — он тоже Илье-пророку подвластный!

— Ох, и темная вы старуха, Анна Ивановна, — поражается заведующий потребиловкой. — Да наши космонавты все небо обшарили — нигде вашего Илью не нашли!

— А может, он в тот день выходной был! — говорит Гальчиха и крестится.

Иван Трифонович в раздражении мотает головой.

— С вами спорить по идейному вопросу все равно что керосин пить, Анна Ивановна!

— А я, батюшка, к тебе не спорить пришла, а по делу!

— Какое дело у вас?

— Тебе известно, что на ильин день у нас в церкви престол?

— Ну, известно!

— Надо бы тебе, Иван Трифонович, обеспечить, чтобы в лавке к этому великому дню и водочка была в потребном количестве... Ну, и селедочка там, колбаска... Праздник ведь большой — ильин день! И дрожжец бы припас!..

— Все варите?!

— Я не варю, — крест святой! А другие варят... кто сахаром запаса.

Иван Трифонович придвигает к себе счеты и указательным пальцем резко сбрасывает костяшки.

— Обеспечим, Анна Ивановна! — говорит он уже бодро и ласково. — Всего завезем... потому... — как это ваши церковники говорят? — «богу богово, а кесарю кесарево»!

И вот наступает ильин день. С утра по селу разносится ликующий призывный трезвон колоколов, в церкви пузатенький отец Кирилл правит торжественную службу.

К полудню на жарких пыльных сельских улицах уже появляются первые пьяные, — верующие и неверующие. Хмель, он ведь объединяет всех!

У потребиловки стоят на улице колхозный счетовод Аграманов, однорукий, желчный человек, в старом офицерском кителе и новенькой клетчатой кепке, библиотекарь Зоя Куличина, смешливая, румяная девушка, собирающаяся выходить замуж за учителя, и Иван Трифонович.

— Опять наши комсомольцы, да и мы тоже, коммунисты, престол проморгали! — возмущается Зоя Куличина. — Мы с Петей говорили в правлении, предупреждали... все мимо ушей! Смотрите, сколько пьяных! И драки уже были, Иван Гальчихин, внук этой знаме-

нитой Гальчихи, подрался с каким-то приезжим. Вот увидите, завтра много невыходов будет на работу!

— Точно! — подтверждает ее слова Иван Трифонович и, помолчав, добавляет веско: — Надо бы на партийном собрании этот вопрос обсудить... об усилении вот именно безбожно-воспитательной работы среди отсталых слоев населения.

— Только не тебе этот вопрос придется ставить, — желчно замечает Аграманов.

— Почему же это не мне? — настороженно щурится Иван Трифонович. — Я, брат, старый безбожник.

— Да, да, — безбожник! — с тем же желчным сарказмом говорит Аграманов. — В бога-отца, в бога-сына и в бога-духа святого ты не веришь, у тебя один бог — бог план святой!.. Все село в престольный день водкой залил! Торгаш ты, а не советский кооператор!

Он резко поворачивается и уходит.

— Вот ведь до чего склочный тип! — с искренним возмущением заявляет Иван Трифонович и смотрит на смутившуюся Зою Куличину в ожидании, что и она осудит вместе с ним желчного колхозного счетовода. Но Зоя отводит глаза в сторону и начинает прощаться: надо идти, а то как бы гроза не застала. В небе где-то далеко глухо и грозно ворочается гром. Бюро прогнозов погоды не подвело Илью-пророка, и ильин день, видать, не обойдется без грома и молний.

Постояв еще немного на улице, Иван Трифонович уходит в лавку под спасательную сень своего громоотвода.



Среди многочисленных недугов, терзающих род человеческий, радикулит — один из самых коварных, потому что он набрасывается на человека с таинственной внезапностью, словно вдруг взбесившаяся собака, и, как правило, в самое неподходящее время!

Лишь потом, когда человек уже лежит распластанный в постели, подложив под крестец электрическую грелку и боясь пошевелиться, он постигает причину этой коварной внезапности и предается запоздалой (а потому еще более противной) крапивно-жгучей самокритике.

— И зачем я, старый дурак, поднимал этот дурацкий тяжеленный чемодан!

Или:

— И зачем я, старый кретин, стоял и курил в коридоре на этом ужасном сквозняке!

Если человек при этом обладает чувством юмора,— он думает еще и так:

— Как жаль, что невозможен обмен болезнями среди граждан! Взять бы и дать объявление в газету: «Меняю старый выдержанный радикулит с нечастыми приступами на свежий грипп без осложнений».

Примерно так терзался и размышлял, валяясь в кровати в номере гостиницы областного города Н., знаменитый артист одного громкого столичного театра Сергей Иванович Блинский, красивый старик с надменным полным лицом и барскими манерами.

В город Н. он приехал с чтецкими концертами на три дня и в первый же день свалился от приступа радикулита, простудившись в поезде.

Лежать без движения в постели, смотреть весь день в окно и видеть одни и те же занесенные снегом крыши да панбархатную пронзительно-синьковую портьеру скучно и тяжело. А переведешь взгляд на стену — та же тяжкая скука сама взглянет на тебя в упор выпученными белыми глазами враля-охотника с халтурной копии, висящей над кроватью.

Худо, ох худо человеку, сраженному радикулитом в чужом городе, вдали от родного дома!

Сергей Иванович стал нервничать, в голову ему полезли всякие нехорошие мысли.

Навещать его приходил представитель филармонии, но от его визитов Сергей Иванович только еще сильнее раздражался. Представитель был весь какой-то подержанный, наигранно-бойкий, с бледным, пухлым, плохо замешанным, непропеченным лицом. Он

изо всех сил старался казаться тонким и высокоинтеллигентным, а сам говорил «тролебус» вместо «троллейбус» и «репетивировал» вместо «репетировал». Его засаленный вискозный галстук был такого невыносимо-изумрудного цвета, что Сергей Иванович в конце концов не выдержал и сказал, закрыв глаза:

— Вы, голубчик, не утруждайтесь, не навещайте меня. Я поправлюсь и сам вам позвоню.

— Нельзя-с! — мягко ответил представитель. — Мы обязаны чуткость проявлять, пока вы бюллетените. Нас греют за это!

Когда легкий запашок борща и водки, оставшийся после него в номере, постепенно растаял (наверное, его всосала в себя всеядная панбархатная портьера), Сергей Иванович вдруг вспомнил то, что должен был бы вспомнить раньше!

Он вспомнил, что в городе Н. живет на покое его старый друг — и даже больше, чем друг! — драматическая актриса Елена Константиновна Глебова, которую он не видел больше тридцати лет. Изредка на праздники Сергей Иванович получал от нее милые поздравительные открытки (она писала на театр) и отвечал ей (а иногда и забывал ответить!) тоже открытками не менее милыми. Жене своей Сергей Иванович об этих открытках, впрочем, не говорил «во избежание лишних разговоров». К чему? Ну да, был — был! — сумасшедший, стремительный актерский «роман», была прелестная, юная, талантливая Леля Глебова — белокурая, розовая, с непостижимо черными глазами, со свежим, ярким, всегда улыбающимся ртом, с крохотной родинкой над полной верхней губкой. Была предельная близость, были клятвы «всегда быть вместе»! Все было! И все ушло! Жизнь развела,

разъединила, разбросала в разные стороны, и незачем сейчас жалеть об этом! Но повидаться, всколыхнуть душу, погреть ее у старого огня... Кряхтя и охая, Сергей Иванович кое-как вытащил из-под подушки свою записную книжку, нашел адрес Глебовой Е. К., написал на вырванном из книжки листке телеграмму: «Лежу пронзенный радикулитом вашем городе гостинице в номере 36 умоляю навестить жду завтра семь вечера целую ручки Блинский», позвонил по телефону на этаж (аппарат стоял на тумбочке подле кровати) и попросил явившуюся дежурную отправить телеграмму немедленно.

Утром он почувствовал себя лучше, даже сам побрился. Потом лежал, смотрел в окно на белые крыши, казавшиеся сегодня очень чистыми и приветливыми, и думал о Лелечке Глебовой. Сколько ей сейчас? За шестьдесят, наверное!

В шесть вечера он вызвал горничную, приказал как следует проветрить номер и принести снизу из ресторана бутылку шампанского и два бокала. В семь пятнадцать зазвонил телефон на тумбочке подле кровати, и Сергей Иванович, истомленный ожиданием, ловивший каждый шорох за дверью в коридоре, жадно схватил и снял с рычажка трубку!

— Слушаю!

— Это вы, Сергей Иванович? Здравствуйте! Говорит Глебова Елена Константиновна.

Спазма перехватила горло Сергея Ивановича. Боже мой, ее, Лелечки Глебовой, знакомый грудной голос с ее насмешливо-ласковыми интонациями!

— Откуда вы говорите? Где... ты сейчас?!

— Внизу!

— Поднимайтесь же скорей ко мне — на третий этаж. Я тебя жду!

Легкий, смущенный смешок.

— А меня к вам не пускают!

— Кто не пускает?! — рявкнул в трубку Блинский и тут же охнул от острой боли в пояснице, потому что резко шевельнулся под одеялом.

— Дежурный администратор не пускает! — ответила трубка. — У них такое правило: в номер к мужчине не пускают женщину. И наоборот! Чтобы не было моральной распушенности. Вот так, друг мой!

— Скажите ему, что в данном случае все... так сказать... весьма этично и совершенно безопасно!

Снова легкий смешок.

— Нет, это вы уж сами ей скажите, у меня язык не поворачивается. Передаю трубку.

Бесстрастный, ровный, лишенный модуляций, словно отполированный женский голос:

— Дежурный администратор слушает!

— Голубчик! — сдерживаясь, сказал Сергей Иванович. — Ко мне пришла старая приятельница, почтенная женщина, заслуженная актриса, пенсионерка, наконец, а вы ее не пускаете! Это нехорошо!

— Правила для всех одинаковы, товарищ Блинский!

— Поймите, я лежу в постели!..

— Тем более я не имею права пускать к вам в номер... гражданку.

— Я болен, у меня радикулит! — завопил Сергей Иванович, стараясь оставаться неподвижным. — И потом... мы вдвоем с этой гражданкой потянем на сто двадцать годков с гаком, товарищ дежурная! Так я на себя беру!

— В правилах ничего не сказано о возрасте посетителей и посетительниц.

— Но нет же правил без исключений!

— Мы не можем делать исключений.

— А кто может?

— Не знаю! Начальник городской милиции, наверное!

— Дайте мне его телефон!

— Пожалуйста!

Дежурная назвала номер, и Сергей Иванович попросил ее передать трубку Глебовой.

— Елена Константиновна! — сказал он, сильно волнуясь. — Я сейчас буду звонить, куда нужно. Вплоть до Верховного Совета! А в общем, добьюсь! Только не уходите!

— Хорошо, я обожду!

Звонить в Верховный Совет, однако, не пришлось. Дежурный по городу майор милиции с веселой фамилией Килобок, выслушав сбивчивый рассказ Сергея Ивановича («Поймите, голубчик, к старику пришла старуха, а ее не пускают!»), обещал позвонить в гостиницу и «все отрегулировать».

И вот наконец быстрые осторожные шаги по коридору и легкий стук в дверь.

— Входите! Дверь не заперта!..

Да, время не пощадило Лелечку Глебову! Сергей Иванович своим наметанным актерским глазом сразу заметил то, чего не скроешь никак и ничем. Старая, очень полная женщина приблизилась к его постели.

— Елена Константиновна... Лелечка! — ослабевшим голосом с трудом произнес Сергей Иванович. — Прости... что из-за меня тебе пришлось испытать это глупое унижение!

И вдруг на старом женском лице прежним колдовским жаром зажглись, заиграли черные — Лелечкины! — глаза.

— Ну что вы, милый! — сказала Глебова, улыбаясь, и эта улыбка, смутная, чуть лукавая, тоже была прежней, Лелечкиной. — Во-первых, я увидела вас, а во-вторых... я же была просто счастлива, когда меня к вам не пускали. Я на минуту почувствовала себя снова женщиной... Не поднимайтесь! Уж я-то знаю, что такое радикулит!

Она протянула ему маленькую, сморщенную ручку, и Сергей Иванович молча прижал ее к своим губам.

МАМОЧКА

(маленькая трагикомедия)



1. Сын улыбается

Ради бога, не подходите к нему так близко!.. Вот тут можете встать и смотреть на него... Почему нельзя дышать? Дышать можно... Только когда вы выдыхаете — отворачивайтесь... Вы что, обиделись на меня?.. Тошенька, скажи дяде, чтобы он на нас не обижался, объясни дяде, что он может занести к нам всякую бяку с улицы, дядя культурный, дядя поймет... Смотрите, смотрите, Тоша вам улыбается!.. Ну, что за чудо-ребенок! Почувствовал, что вы обиделись, и хочет вас «купить», маленькая моя хитрюшка!.. Вообще у Тоши удивительно ровный, спокойный, оптимистический характер... Как это в чем проявляется? Да во всем! Ну, например, другие детки, когда

с ними случаются... маленькие естественные неприятности, хнычут, плачут, громко кричат. А Тошенька в этих случаях спокойно лежит и молча улыбается, как ангел! И я уж знаю: если Тоша вдруг молча заулыбался, значит — все, свершилось! Нет, сейчас он вам улыбается просто так, без подтекста!.. Что с тобой, моя кошечка?! Не надо плакать, рыбка моя сладенькая!.. Ах, вот оно что!.. Ну, вы уж нас извините, с нами в первый раз... такой подтекст случился. Это вы на него, наверное, так подействовали.

2. На прогулке с сыном

(Когда ее ребенку 3 года)

— Гражданин, что вы претесь со своей собакой прямо на ребенка?! Тоша, не тянись к собаке, собака — дрянь, заразная, топни на нее ножкой!.. Пошла прочь, собака!.. При чем здесь любовь к живой природе, гражданин?! Вот вы свое потомство, если только оно у вас имеется, и воспитывайте в любви к вашей блохастой природе, а меня, пожалуйста, не учите!.. Идем, Тошенька!.. Зачем ты побежал за киской, гадкий мальчишка?! Киска — дрянь, заразная, возьми камушек и брось в нее!.. Вот так, молодец, — прямо в головку ей попал!.. Не подходи к голубям, они всякую заразу клюют!.. Кышь отсюда, голуби!.. Господи деваться некуда от этой «живой природы»!.. Дай маме ручку и пошли домой.

3. Визит в школу сына

(Когда ее ребенку 8 лет)

— Простите меня, но я вас категорически не понимаю!.. Не мой сын поссорился со всем классом, а

весь класс поссорился с моим сыном. И это в первую голову, простите меня, плохо вас характеризует как классного руководителя... У Тоши добрый, покладистый характер, ребенок дома мухи не обидит!.. Как это «прищемил дверью палец одному мальчику и долго держал»?! Он нечаянно прищемил, а тот мальчик нарочно придержал дверь, чтобы отдавить себе палец, а потом пожаловаться вам на Тошу, а вы не сумели разобраться. Мальчишки всегда суют свои носы и пальцы куда не надо... Да, конечно,— шалость. Тоша очень подвижной, моторный, здоровый мальчик, как каждый мальчик, немножко шалун!.. Ничего в этом нет дурного... Да, он не юный пионер!.. У него слабое здоровье, ему противопоказаны дополнительные нагрузки, пожалуйста, вот справка от врача... Нет, вообще он здоровый мальчик, я себе не противоречу, но с его моторной психикой ему нельзя переутомляться!.. Ну, я вижу, что мне придется хлопотать о переводе моего сына в другую школу!.. Но вы лично, простите меня, будете иметь в связи с этим персональные неприятности, я вам это гарантирую как мать Тоши!..

4. Сын уезжает на целину

(Когда ее ребенку 18 лет)

— Тошик, слушай меня внимательно, мы с папой все продумали, запомни хорошо, что я тебе скажу. Ехать тебе на уборку надо, иначе могут быть неприятности, еще фельетон напишут, не дай бог, в газете, а тогда и папу потянут. Поезжай!.. Погода хорошая, прокатись, ничего! Я тебе всего напеку на дорогу, жарю, но дай мне честное комсомольское слово, что ты будешь закусывать, потому что водка без закуски —

смертельный яд, спроси у отца, у кого хочешь!.. Приедешь на место, води себя спокойно, выдержанно, делай все, что другие студенты делают, только не лезь во всякие там соревнования. Через два дня ты получишь от нас телеграмму: «Мама упала с лестницы выезжай папа». С этой телеграммой сейчас же ступай к вашим руководителям и говори только одно: «У меня мама упала с лестницы, я должен вернуться домой»... Как это тебе не поверят?! Каждый человек может оступиться и упасть с лестницы!.. Да у меня единственного сына услали на уборку, так я что, не имею права упасть с лестницы?! Шла, думала о сыне, не смотрела под ноги... все очень естественно!.. Кричи на них, требуй, сейчас кругом гуманизм, они не посмеют отказать. Как это так? У мальчика мама — мамочка! — упала с лестницы, а его не пускают... принять ее, может быть, последний вздох!.. А как это может выясниться?.. Да, упала, но не разбилась... Сначала думали, что она разбилась, а потом оказалось, что не разбилась!.. Не обязательно, чтобы каждый человек, который падает с лестницы, разбивался! Вместе с папой работал товаровед Стульчиков Петр Петрович, он упал с третьего этажа — и ничего. Даже потом заведовал магазином «Ткани», построил себе дачу. Дачу, правда, у него на днях отобрали под детский сад, но это уже, так сказать, другая лестница и совсем другое падение... Дай мне честное комсомольское, Тошенька, что ты все сделаешь так, как я тебе говорю! Молодец!.. Я знаю, ты — умный мальчик, ты сумеешь!..

5. Сын женится

(Когда ребенку 28 лет)

«...Женитьба, сынулечка, серьезный шаг. Я не понимаю тех людей, которые осуждают брак по расчету. А как же иначе? Обязательно надо все рассчитывать в жизни, чтобы не случилось роковой ошибки. Даже писатели-классики об этом пишут. Возьми Татьяну у Пушкина. Уж на что положительный образ, но и она из расчета отказала своему Евгению Онегину, не захотела оставить ради него мужа-генерала. И понятно: он хоть и старичок, и в «сраженьях изувечен», а все ж таки генерал с хорошей пенсией. Ты пишешь, что Светлана тебя любит и что она будет очень переживать, если ты женишься не на ней, а на Зине. Тошенька, сынулечка, тебе не 18 лет, нельзя быть таким доверчивым идеалистом. Этой Светлане просто не хочется тебя терять из меркантильных соображений, потому что ты — завидный муж. Вот она и давит на этот клапан. Все очень естественно. В подобных случаях женщины всегда давят на этот клапан. Я сама давила на этот клапан, пока не вышла замуж за папу. Кстати, о папе: он очень плохо выглядит, стал ужасно раздражительный, чуть что не так — в крик! Твою Зину я тоже не знаю, но то, что ее отец, как ты пишешь, «влиятельная особа, с положением и с хорошей отдельной квартирой», говорит в ее пользу, хотя, конечно, издали трудно давать советы. Но во всяком случае для меня ясно, что Светлана — героиня не твоего романа. «У нее ни кола, ни двора, она — романтическая сорви-голова».

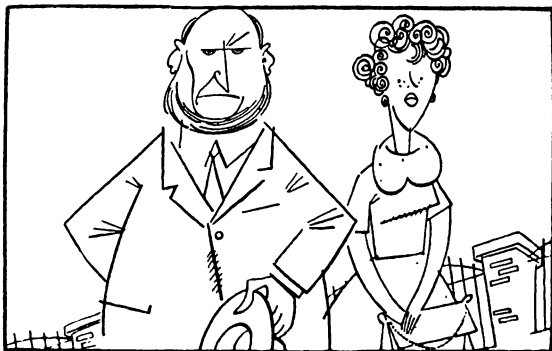
Вот и пусть она срывает головы кому угодно, только не тебе. А лучше всего — себе. Знаешь что: сообщи

мне ее адрес, я вижу, что тебе самому трудно с ней порвать, я напишу ей большое, теплое письмо, как женщина — женщине, она меня поймет и оставит тебя в покое».

6. Помогите

(Когда ее ребенку 33 года)

«Дорогая Светлана Сергеевна! Это вам пишет Анна Ивановна, мать Тошика Глумеева, помните, я вам писала пять лет тому назад, и вы мне ответили замечательным, чутким письмом. Я его до сих пор храню. Светланочка, милая, как я себя казню за то письмо! Ну да о чем теперь говорить! Вы, наверное, уже замужем и счастливы, может быть, вообще не живете в этом городе и ничем не сможете мне помочь. Но если вы там же живете, Светлана Сергеевна, то помогите мне, ради бога, отыскать Тошу, посоветуйте, как это сделать. Вот уже год, как он не пишет мне ни строчки, адресный стол сообщил, что он выбыл, а куда — не сообщили. Может быть, вы знаете куда? Я уверена, что это все шутки его Зинки. Ужасная особа! Они мне ничем не помогают, хотя знают, что пенсия у меня небольшая и мне трудно, потому что я болею и надо платить приходящей женщине, которая за мной ухаживает. Очень мне тоскливо, что осталась я совсем одна, а единственный сын, которому я отдала всю себя, даже весточки не подает. Но я уверена, что все это Зинкины проделки. Люди советуют мне обратиться в газету, уверяют, что мне помогут, потому что теперь кругом гуманизм, но я не хочу позорить Тошу, он слабохарактерный и попал под влияние своей мадам. Ах, если бы вы были рядом с ним, а не эта драная кошка, Зинка!..»



Из атласного небесно-синего «конверта» с белоснежным пододеяльником, смотрят на мир розовая кнопка с двумя дырочками — нос и две молочно-голубые капли — глаза.

Это и есть сын. Он уже большой — ему три месяца и шесть дней. Жених!

Сын лежит на коленях у своего отца Петра Петровича Кошелева, проще говоря, у Петьки Кошелева, шофера с кирпичного завода, двадцати двух лет от роду. Лежит сынок, уставив в потолок бессмысленно-святые, немигающие глазенки, и плевать он хочет на тот неприятный разговор, который идет в комнате и имеет к нему самое прямое отношение!

В разговоре, помимо Петьки Кошелева, участвует его жена Серафима — низенькая блондинка с припухлым ярким ртом, с тяжелыми, набухшими грудями, стянутыми розовым нейлоном новой кофточки, ее мать Матрена Григорьевна — большая, словно русская печка, женщина, а рот, как у дочери — пухлый, маленький, упрямый — и ее отец — Пал Палыч, кладовщик с того же кирпичного завода. Пал Палыч — тощ и сух, как пустой гороховый стручок. По случаю воскресенья и ожидаемого семейного торжества он выпил с утра и в неприятном разговоре занимает примирительно-нейтралистскую позицию.

— Соглашайся, Петруха, чего там, уступи бабам! — с трудом ворочает языком Пал Палыч, тщетно пытаясь поймать зажженной спичкой папиросу, которую держит в зубах не тем концом, каким надо, — все равно они тебя перепилят!.. Дай окрестить внучонка, чего там, делов на копейку!.. Окрестим — и баста!

— А не даст — пусть съезжает с квартиры! — властно вмешивается Матрена Григорьевна.

Бросив на дочь пронизывающе-предупреждающий взгляд, она говорит, обращаясь теперь уже непосредственно к зятю:

— И не надейся, что Серафима за тобой побежит, как собачка. И мальчонку не отдадим. Вплоть до суда! Суд-то завсегда будет на стороне матери!

Петька Кошелев поднимает голову и с тоскливой укоризной смотрит на тестя и тещу. Серафиму он любит и даже не представляет себе, как он может уйти от нее, от ее голубых, со светлыми искорками глаз, от желанного землянично-алого рта. А сын, лежащий у него на коленях, эта розовая кроха, родная кровинка, — разве может Петька Кошелев оставить его?!

— Пал Палыч, папаша,— проникновенно говорит Петька, облизывая языком сухие губы,— и вы, Матрена Григорьевна... я вас уважаю... и прошу вас обоих меня понять. Ведь вы же нас с Симочкой толкаете на факт форменного религиозного обряда! В развернутую эпоху космоса! Когда все вокруг научное и на высокой технической базе. Кирпич, вон, и тот возим в контейнерах с ничтожным процентом боя... Мне совесть не позволяет, поймите вы это!

— Ты лучше сам пойми то, что тебе сказано! — режет Матрена Григорьевна и отворачивается от зятя. Петька видит, как голубые, обожаемые Симины глаза наполняются слезами, пухлый ягодный рот кривится. Сейчас она заплачет, а когда Серафима плачет, Петька теряет всякую волю к сопротивлению и готов сделать все, только бы не слышать ее всхлипываний и не видеть ее слез. На его счастье, Пал Палыч вдруг поднимается из-за стола, подходит и с незакуренной папиросой в зубах склоняется над внуком.

— Плохо твое дело, Павел Петрович,— бормочет Пал Палыч, обсыпая табаком небесно-синий конверт,— не хочет тебя папка твой окрестить, не хочет!

— Отойдите, папаша!— пугается Серафима, и слезы ее мгновенно высыхают.— От вас водкой пахнет.

— Ничего, пускай привыкает!

— И табак вы на него сыплете!

— Слабая набивка!— оправдывается Пал Палыч и, бросив папиросу на пол, продолжает деланным ёрническим голосом бормотать над внуком:— Агу, Павлушка, агу, вставай на ножки, топай креститься самоходкой. «Отец дьякон, давай купель на кон, я в нее мыр... ныр... ну и баста!.. Агу!..»

Он выпрямляется, покачиваясь на кривых, слабых ногах, говорит сокрушенно:

— И кумовья, поди, уже ждут у церкви, как договорились. Неудобно как получается. Неморально!

— Ну, идешь?!— резко спрашивает мужа Се-
рафима.

— Симочка, я же тебе объяснял ситуацию... и перспективу рисовал... и одним словом... христом-богом тебя прошу — не настаивай.

— И я тебе ситуацию рисовала. Первое — не верю я, что тебе квартиру дадут, а второе — я из родительского дома все равно никуда не поеду. Вот при папе и маме говорю. Сыном клянусь!

Сима плачет. Светлые, очень крупные слезы быстро бегут по ее румяным щекам. Болезненно морщась, Петька рывком поднимается со стула и, прижимая одной рукой к себе небесно-синий конверт с сыном, другой хватает с вешалки кепку.

— Ладно, пошли!

...На главной улице поселкалюдно и шумно. Погода хорошая. Кто вышел просто погулять, кто спешит в магазин. Люди заполнили не только тротуар, но и проезжую часть улицы, и шоферы грузовиков безо всякого стеснения сигналият вовсю, просят пешеходов посторониться.

Подле ларька «Соки — воды» два подвыпивших гражданина в одинаковых клетчатых рубашках громко ссорятся из-за стакана, который им нужен отнюдь не для сока и отнюдь не для воды. Один пытается отнять стакан у другого, и уже пихает соперника ладонью с растопыренными пальцами в грудь, и уже страшно рычит: «Я с тебя сейчас сок пущу!» — а пожилая ларечница в белом полотняном пиджаке, высу-

нувшись из своего фанерного гнезда чуть не до половины туловища, успокаивает драчунов ласковым грудным сопрано:

— Миленькие вы мои, вы сперва посуду поставьте, а потом уж деритесь на доброе здоровьишко.

Куда-то бесшумно промахнула по горячему асфальту цепочка мальчиков-велосипедистов. Мальчики все как на подбор — аккуратные, светловолосые, в новеньких желтых с белыми воротничками майках, в синих трусах — заводская юношеская команда. У них не то пробег, не то тренировка. На Петьку с его небесно-синим конвертом в руках и на Симу со следами недавних слез на щеках никто не обращает внимания, но Петьке кажется, что все прохожие смотрят на него с насмешкой и осуждением, потому, что все знают, куда и зачем он несет своего сына. Скорей бы свернуть на тихую боковую улицу, ведущую к церкви! Вот и поворот. На углу на заборе — свежая афиша. Петька останавливается. Что такое?

«К л у б «К р а с н ы й л у ч».

Сегодня в 7 час. 30 мин. вечера состоится лекция-беседа

«Почему я отрекся от религии?».

Читает бывший священник Александр Шикунов.

Ответы на записки.

По окончании — танцы. В первый раз — модный танец «Липси».

Играет оркестр усиленного состава.

Цена билета 30 коп.»

Петька с волнением оборачивается к жене и видит, что она тоже читает клубное объявление, по-детски шевелит губами — повторяет про себя строку за строкой.

Вот дочитала до конца. Сейчас взглянет на Петьку, и в глазах ее, наверное, появится выражение милого смущения, которое Петька так любит, и она — прелестная, дорогая, — скажет два слова: «Идем домой!» Всего лишь два слова!

Прелестная и дорогая взглянула. Глаза безразличные, безмятежно-сытые, как у породистой коровы.

— Пожалуй, можно будет пойти. Часам к девяти! Покормить Павлушку и сбегать на часок, посмотреть на этот «Липси». И что в нем такого особенного?!

— Идем домой! — дрогнувшим голосом говорит Петька.

— Ты опять?!

— Да ты посмотри, «они» сами от своего дела отрекаются. Что же получается, подумай сама овечьей своей головой: «они» — оттуда, а мы — туда?!

Серафима молчит, обиженно закусив нижнюю капризно-чувственную губку.

— Слово тебе даю, Николай Сергеевич обещал квартиру! — говорит Петька с мольбой и укором. — И в завкоме обещали. Можешь, сказали, твердо надеяться, Кошелев. А пока... если Матрена Григорьевна будет агрессничать, перебьемся как-нибудь. В общепитии поживем, отведут уголок какой ни на есть. Не пропадем!

Серафима молчит.

— И что же ты, понимаешь, за несамостоятельное создание, Симка! Сама уже стала мамашей, а от

маткиной юбки не можешь оторваться. Да хоть бы еще юбка-то была стоящая!

— Ты, пожалуйста, маму не задевай! И вообще... я тебе все сказала, а слово у меня — твердое. Давай ребенка!

Сима решительно берет из Петькиных рук небесно-синий конверт и идет по переулку. Постояв на углу и проводив глазами ее удаляющуюся фигурку с сильно развитыми бедрами, со стройными ножками, чуть полноватыми, но красивыми — с узкой щиколоткой и крутым, легким рисунком икры, Петька обреченно шагает следом за женой к виднеющемуся вдали белому с зелеными куполами зданию церкви. На душе у него — муть.

У паперти, ожидая супружескую чету, стоят кумовья: крестный отец Аркадий Трофимович Задонцев, продавец из магазина «Культтовары» — пожилой, благообразный, очень полный, и крестная мать Райка Сургученко, Симины подружка, — бойкая, тощая девица со смышленной обезьяньей мордочкой: большелобая, большеглазая, с выдвинутой вперед нижней хваткой челюстью. Райка работает в местном ателье индивидуального пошива, шьет и на дому, главным образом мужские модные рубашки, хорошо зарабатывает и слывет богатой невестой. А выйти замуж ей, бедняжке, никак не удастся, хоть она и знакома благодаря своей профессии швеи со всеми поселковыми холостыми пижонами.

Чмокнув Симу в щеку, кивнув Петьке и наскоро сделав Павлушке «козу», Райка начинает трещать, как заводная.

— Мы тут с Аркадием Трофимовичем волнуемся, как ненормальные, я уже все оформила с вашими

паспортами, ваша очередь к попу подходить, а вы все не идете и не идете. Я уж думала, у вас семейный купорос получился. Давай скорее своего пудовичка, Симка!

Она ловко и аккуратно берет у Серафимы небесно-синий конверт, смотрит, любуясь, на фарфоровое личико ребенка, и ее нижняя челюсть от избытка чувств еще больше выдвигается вперед.

— У-у, ты мой кнопочка вкусная!— умело покачивая на руках конверт с ребенком, приговаривает Райка.— У-у, ты мой кавалер несравненный!.. Только давай с тобой условимся: не реветь, когда батюшка тебя окунать станет. Не будешь реветь? Договорились? Договорились?

— А нам что же... тут вас ожидать?— мрачно спрашивает ее Петька.

— Ага! Да ты, Петруша, не беспокойся, мы это дело быстренько обтяпаем, не успеешь соскучиться.

— А нельзя ли нам с Петей... туда?— Сима показывает глазами на открытые церковные двери.

— Нельзя-с!— солидно разъясняет Аркадий Трофимович.— Родителям по обряду не полагается присутствовать. Мы с Райсой Ивановной являемся как бы вашими доверенными лицами при совершении таинства крещения.

— Да бросьте вы, Аркадий Трофимович, бюрократизм разводите!— обрывает крестного отца крестная мать.— Пускай идут!

— Мы пройдем, а вы немного погодя, за нами,— говорит она Петьке и Серафиме.— Встаньте в сторонке и смотрите себе потихонечку! Пошли, Аркадий Трофимович.

...И вот уже стоит Петька Кошелев в церкви, где

сладко и душно пахнет ладаном и горелым воском, и видит, как Райка Сургученко передает его сына, голенького и беззащитного, в руки священника. Священник, в золоченой ризе, молодой, чернобородый, с бледным лицом, берет ребенка, звонко и жалобно ревущего на всю церковь, и, подняв усталые глаза кверху, туда, где восседает на пуховых, тщательно выписанных живописцем облаках грозно нахмурившийся старец бог, огромный, в лиловой богатой рясе, из-под которой видны его огромные, голые, беспощадные ступни, переkreщенные ремнями сандалий, негромко произносит слова молитвы:

— Верую во единого бога отца вседержителя творца...

И так жалко становится Петьке Кошелеву свою родную кроху, дергающуюся с ревом в руках чернобородого священника, так горестно, так невыносимо глядеть на розовую, несчастную попку сына! Петькино сердце больно сжимается от острого чувства жалости. А священник тем же глухим безразличным голосом продолжает произносить торжественные, непонятные, мертвые слова. И вдруг новая огненная мысль возникает в Петькиной голове.

«И этот отречется!— думает Петька, глядя на молодого священника с черной щеголеватой бородой.— Он и сейчас-то уже не верит в свои слова. Отречется, как пить дать, и тоже будет разъезжать, как этот Шикунов, по клубам, читать лекции-беседы. Да еще смеяться, язва, станет над такими, как он, Петька Кошелев».

И — новая мысль:

«Пока не поздно, нужно вырвать из его рук сына и бежать отсюда, скорей бежать!»

Охваченный этим жгучим желанием, подчиненный только ему одному, Петька быстро проходит вперед. Ахнув, Сима спешит за ним, хватая мужа за пиджак, что-то шепчет, но Петька, отмахнувшись от нее, отстраняет крестную мать и крестного отца, смущенных и перепуганных, и оказывается лицом к лицу со священником.

— Стоп! Задний ход! Отдайте ребенка.

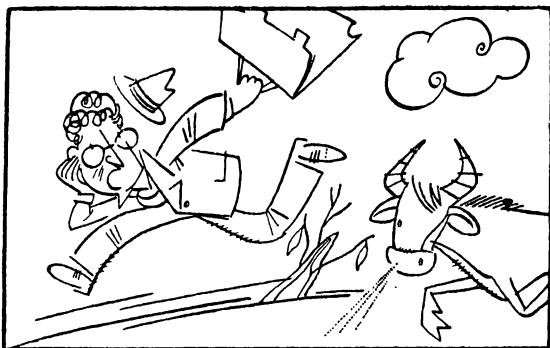
Священник смотрит на решительное, ожесточенное Петькино лицо и, бледнея, тихо говорит:

— Позвольте... по какому праву?!

— По праву отца!

Петька протягивает руки, и священник покорно отдает ему его надрывающегося от натужного плача сына. Петька вырывает из рук крестного отца простынку, заворачивает в нее свою кроху и, прижав драгоценную ношу к груди, быстро шагает к выходу из церкви. Плача, Сима идет за ним. А в церкви творится такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Райка Сургученко и Аркадий Трофимович спорят, обвиняя друг друга в том, что произошло, причем крестный отец называет крестную мать «вертушкой», а та его «пузаном», свирепо кудахчут по углам черные церковные старухи, кажется даже, что святые угодники на иконах переглядываются и пожимают плечами, возмущенные скандальным происшествием.

Но Петька Кошелев ничего этого не слышит и не видит. Он видит только высокий прямоугольник открытых дверей и зеленую траву на церковном дворе и кусок синего чистого неба, по которому в эту минуту быстро проплывает четкий силуэт низко летящего самолета с откинутыми назад сильными крыльями.



Хуже нет для странствующего литератора, как очутиться в одном купе с неразговорчивым попутчиком!

Войдет в вагон этакий мрачноватый дядя, сядет на диван, посмотрит на тебя с подозрением, вынет из чемодана колбасу и вареную холодную курицу и так, в молчаливом общении с курятиной и колбасой, и проведет весь свой недолгий поездной век.

Пытаясь разговорить его, скажешь:

— Взгляните, какая рощица красивая!

Он выглянет в окно, буркнет:

— Ничего себе! — и снова давай трещать куриными костями.

Сойдет с поезда — и останутся от человека лишь обглоданные косточки да узкая ленточка колбасной кожуры в пепельнице на столике!..

То ли дело попутчик общительный: он и тебя разговаривает и сам такого нараскажет — только успевай сюжеты запоминать. (Именно — запоминать, в блокнот потом запишете. Ни в коем случае не вытаскивайте блокнот во время разговора — вспугнете чуткую птицу взаимного душевного расположения.)

Недавно ехал я из Москвы в командировку, и попутчиком моим оказался именно такой веселый, словоохотливый человек, да к тому же еще и умница. Звали его — Дмитрий Иванович С. Партийный работник, бывалый человек, много повидавший за свои сравнительно еще молодые годы. Ехали мы с ним в купе вдвоем, и Дмитрий Иванович рассказал мне тьму всяческих историй из жизни, и смешных, и печальных, из которых я — пока! — выбрал для огласки одну. Думаю, что Дмитрий Иванович не посетует на меня за это, тем более, что, прощаясь, я назвал свою литературную фамилию и показал блокнот с записями, которые сделал уже ночью, когда мой попутчик, наговорившись, спал безгрешным сном. Дмитрий Иванович посмотрел на исписанный блокнот, потом на меня, покачал головой и усмехнулся:

— Та-ак! Значит, сидели, слушали да на ус мотали? Ну что ж, пользуйтесь. Только... из арифметики переведите все в алгебру. Ни подлинного места действия, ни подлинных имен не называйте. Не надо! Так даже полезней. Идет?

— Идет! — сказал я, и мы расстались друзьями.

Вот эта история, услышанная мною от Дмитрия

Ивановича С. в поезде на перегоне Курск — Харьков.

«Объезжал я как-то — года два-три тому назад — на «газике» колхозы района, где только недавно начал работать. Ехал с шофером Василием Ивановичем Городцовым, человеком примечательным до некоторой степени. Служил он в районном «Заготскоте» счетоводом, а в пятьдесят четыре года окончил автомобильные курсы и стал заправским шофером, да еще, как говорится, «с уклоном в лихачество». Внешность Василий Иванович имел при этом весьма интеллигентную, седые усы и бороду аккуратно подстригал, носил опрятный пиджачок с галстуком и изъяснялся вычурно и витиевато.

Получалось это у него примерно так:

— Я, Дмитрий Иванович, пошел в шоферы на закате, можно сказать, своего земного существования потому, что захотелось мне хоть напоследок побыть «с веком наравне».

— Это как же вас прикажете понимать, Василий Иванович?

— Так ведь век у нас технический, Дмитрий Иванович, атомный. Одним словом — интеграл-с! Только техника, Дмитрий Иванович, повышает жизненный тонус современного человека, не говоря уж о его зарплате. Возьмите меня. Сейчас я состою при автомобиле, то есть при технике, и, заметьте, переживаю вторую молодость, чтобы не сказать — третью. Конечно, я понимаю, счетоводы тоже нужны. Социализм — это учет! Но, с другой стороны... надоела мне лично цифра, Дмитрий Иванович, пропади она пропадом! Заедала она меня, проклятая, как сварливая жена покорного мужа. И ведь что такое цифра? В конкретном смысле — абстрактная закорючка. А эта закорючка

шу сушит, Дмитрий Иванович, и геморрой развивается в теле...

Все это — с руками на баранке и при скорости во-мьдесят километров в час!

Водку Василий Иванович не пил («Врачи авторитно вычислили, что свою жизненную норму по водке еще к сорока годам перевыполнил на двести пять-сят процентов!»), предпочитал молоко, но пил его чайных и закусочных, куда мы заезжали, не стака-ми, как все добрые люди, а стопками или рюмками. ри этом морщился, кричал, охал, мотал головой, а пив, крепко ставил стопку на стол и щелкал паль-ми. Глядя на него, посетители смеялись, а он важно являл:

— Рефлекс! По Павлову! По Ивану Петровичу!..— многозначительно поднимал палец.

Большой был чудак!..

Вот с этим самым Василием Ивановичем Городцо-м и заехали мы в колхоз «Спартак» на животновод-скую ферму — поглядеть, как дела идут.

Колхоз «Спартак» был не из сильных колхозов, а председателях ходил там Куличков Егор Егорович — же личность в своем роде примечательная.

Человек не деревенский, но в деревне живет давно сельское хозяйство в общем знает.

Если взять Егора Егоровича и, так сказать, разо-ать его на составные части,— все хорошо, даже пре-асно! Не пьяница. Семьянин. Честный. Исполни-тельный. Дисциплинированный.

А соберешь вместе — получается чепуха! Кисель кой-то клюквенный, а не человек!

Беда его была в том, что исполнительность — сама себе черта неплохая — развилась у него до абсурд-

но гигантского размера в ущерб всему остальному. Всякое «начальство» Егор Егорович уважал несказанно, трепетно, богобоязненно — и притом совершенно искренне, без тени подхалимажа. А так как начальства было много, и во всевозможных указаниях и директивах, как вы знаете, нехватки в то время не ощущалось, то Егорович полегоньку да потихоньку утратил как хозяин всякую способность к самостоятельному мышлению и действию. Впрочем, я отвлекся, извините!..

Итак, подъезжаем к ферме «Спартак» и еще издали слышим какие-то стуки, железный лязг, бой колокола, грохот, мычание и душераздирающий рев животных!.. Что за притча?.. Городцов оборачивается, говорит:

— Не то домового хоронят, не то ведьму замуж выдают. По Пушкину! По Александру Сергеевичу!

— А ну-ка, газаните, Василий Иванович, поглядим на эту ведьму.

Василий Иванович «газанул», и мы через пять минут были на месте.

Выходим из машины и видим такую картину. Под крышей коровника развешаны куски железа, обрубок рельса, медные тазы, старый церковный колокол небольшого размера. Хлопчики изо всех сил лупят кто кочергой, кто ухватом по всему этому хозяйству. Коровы стоят во дворе фермы и, конечно, режут.

Егор Егорович Куличков стоит в сторонке с подвязанной щекой (у него всегда зубы болели), лицо страдальческое, смотрит на ручные часы.

Делаю ему знак (голоса не слышно!) подойти.

Мотает головой и, показывая на свои часы, демонстрирует два растопыренных пальца. Дескать, потерпите, пожалуйста, еще две минутки.

Терпим!

Наконец он поднимает руку и хлопчики прекращают свою работу. Наступает тишина. И, честное слово, мне показалось, что бедные буренки все разом облегченно вздохнули из глубины своей коровьей души.

Куличков подходит, узнает меня, и в глазах у него появляется восторг, какой обычно возбуждали в нем вышестоящие товарищи.

— Разрешите докладывать, товарищ секретарь?!

— Не надо никаких докладов! Просто объясните мне: что тут у вас происходит?

— Происходит научный опыт, товарищ секретарь. Приезжал к нам из области, из института, кандидат наук товарищ Сигаёв Викентий Викентьевич, привез бумагу — оказать содействие и так далее. Товарищ Сигаёв пишут диссертацию на тему... как это?.. «О влиянии слухового раздражения на повышение удожности у коров»... Вот мы и создаем, согласно полученным указаниям, соответствующую звуковую обстановку. По инструкции действуем, товарищ секретарь, точно: десять минут бьем, десять отдыхаем.

— Вот оно что!.. Ну и как — повысились от этого удои?

— Пока нет!

— А с кормами как у вас дело обстоит?

— С кормами дело обстоит... неважно!

— Прошу извинить! — вмешивается в разговор мой Василий Иванович. — Поскольку я понимаю, данный научный опыт построен на рефлексам. Только не могу угадать — на каких?..

— Товарищ Сигаёв говорили, что вот, мол, в ресторанах первого разряда музыка для чего дается? Для повышения аппетита столующихся... А тут...

— Э, нет, почтенный! — перебивает Куличкова мой шофер. — Какое же может быть сравнение?! Там — в себя принимают, а тут — из себя отдают. Там — люди, тут — животные, там — музыка, тут — черт те что!.. Загибает ваш Сигаёв.

— Им виднее!.. Наука!..

А тут доярки к нам подошли, хлопчики с железьяками, стоят, слушают.

Пожилая доярка уперла руки в бока, говорит:

— Прикажите ему, товарищ секретарь, прекратить это безобразие. Нас он не слушает, для него бумага — все. Ведь это же что такое?.. Слон и тот не выдержит, не то что корова!..

Я говорю Куличкову по возможности спокойно:

— Надо прекратить опыт, Егор Егорович. Наука разная бывает. Есть еще, к сожалению, и лженаука. С областью я поговорю, мы этого вашего Сигаёва приведем в чувство. Перестаньте только коров и людей мучить!

Вижу — у него в глазах забегали радостные огоньки, но... мнется, топчется на месте.

— Ну, в чем дело, Егор Егорович?

— Пока вы, товарищ секретарь, поговорите с областью, пока то да се, а он завтра обещался приехать, Сигаёв. Будет требовать!

— Гоните вон!

— Бумага у него, товарищ секретарь.

— Сошлитесь на меня! И гоните!

— Не уйдет! Бумага у него!

Тогда я спрашиваю:

— А бык у вас как — серьезный?

Белобрысый хлопчик с железякой отвечает за Куличкова:

— Бык у нас подходящий. Дунаем зовут. Мы его на чеши держим.

— Вот вы Дуная вашего и спустите с «чеши» на Сигаёва, товарищ Куличков, если он не захочет сам добром уйти!

Доярки засмеялись, но Куличков даже не улыбнулся, только вздохнул да поправил повязку на щеке.

Я простился с народом и уехал.

К себе в район я попал только через два дня, сейчас же позвонил в обком и рассказал первому секретарю про безобразия кандидата наук Сигаёва.

Прошла неделя, и снова я заехал в «Спартак» и тут узнал то, что меня буквально потрясло: исполнительный Егор Егорович выполнил мое «указание» точно, то есть сначала предложил Сигаёву удалиться, а когда тот отказался и стал разговаривать басом, спустил на него быка, заявив при этом, что действует «по директиве районных организаций».

Рассказал нам с Василием Ивановичем об этом знакомый белобрысый хлопчик.

— Да что он у вас, в уме, ваш Куличков?! — вырвалось у меня. — Разве можно на человека быка спускать? Я же пошутил тогда! Ведь Дунай мог этого кандидата наук насмерть забодать.

— Не! — сказал хлопчик. — Не мог. Кандидат дюже резвый попался. Как чесанул — так только на станции остановился. Полкилометра бежал, как... этот... спринтер!

Мы с Городцовым переглянулись, и старик произнес с обычной своей важностью:

— Рефлекс! По Павлову, по Ивану Петровичу!

При новом председателе дела у колхоза пошли в гору».



Однажды, вернувшись с работы, я застал у себя дома незнакомую старушку.

Замечено, что некрасивая женщина к старости либо удивительным образом изменяется к лучшему — и тогда на нее снисходит долгожданное, но, увы, уже никому не нужное благообразие, либо она превращается в нормальную старую ведьму. В данном случае имел место второй вариант превращения.

За столом сидела и чинно кушала суп доподлинная обитательница Лысой горы — с красными кроличьими глазками, с острым малокровным носиком, тщетно пытавшимся дотянуться до столь же острого, выпяченного подбородка, оснащен-

ного пикантной бородавкой. Хвоста, впрочем, я у нее не заметил.

— Познакомься, Вася! — сказала мне моя жена Клавдия. — Это моя милая, хорошая баба Надя. Она приехала к нам погостить из своего милого Кустополя. Помнишь, я тебе читала письмо.

Я пожал протянутую мне холодную лягушачью лапку, промямлил какую-то любезность и тоже сел за стол.

— Я так рада, что вы приехали, баба Надя! — натянуто улыбаясь, продолжала фальшиво ворковать моя жена. — И Петенька очень рад! (Она строго посмотрела на нашего сына Петьку, ученика первого класса, и дисциплинированный Петька молча кивнул головой.) И Вася очень рад! Ты ведь рад, Вася, правда? — обратилась она ко мне.

Я поднял опущенную над тарелкой с супом голову и увидел две пары женских глаз, устремленных на меня. Одни глаза приказывали, другие — красноватые, кроличьи — издевательски ухмылялись, как бы говоря:

— Ну-ка, миленький, попробуй, скажи, что ты не рад, и я тебя тут же превращу в антенну для телевизора.

Я с трудом выдавил из себя: «Рад!» — поперхнулся супом и выбежал из-за стола.

Я не хочу обижать милый город Кустополь. Я убежден, что там живут и работают на редкость симпатичные, хорошие советские люди, в том числе замечательные стариканы и столь же замечательные стариканши. Наверное, двоюродная бабушка моей жены — Надежда Игнатьевна (она же баба Надя) составляет среди них досадное исключение. Старушка — в полном соответствии со своей внешностью — оказалась отменной

сплетницей, страшной злыдней и глубоко принципиальной склочницей.

На второй день своего пребывания у нас она — по секрету! — сказала Клавдии, что та «могла бы сделать лучшую партию», что у меня «легкомысленная походка» и что за мной «надо глядеть в оба». А вечером сообщила мне — и тоже по секрету! — что у Клавдии в Кустополе всегда была «целая орава поклонников», что «такое с годами не проходит» и что за Клавдией «надо глядеть в оба».

Она часами просиживала у парадного с лифтершами, когда те, собравшись, перемывают косточки жильцам дома, и вносила свою посильную лепту в эту перемывку, рассказывая всякие небылицы про меня и про Клавдию — свою внучатую племянницу. А нам она приносила, словно сорока на хвосте, самые свежие новости из жизни наших соседей. И всякий раз эти новости были такого свойства, что казалось странным, почему окна нашего жактовского дома не заделаны решетками.

Она стала таскать Петьку с собой в церковь. Однажды я услышал, как они вдвоем пели «Богородицу» и омерзительный козлетон старухи как бы подпирал снизу чистый дискант моего сына.

Я рассказал об этом Клавдии и потребовал немедленного изгнания бабы Нади назад в ее милый Кустополь.

— Ни в коем случае! — сказала моя жена. — Надо считаться с тем, что она старый человек и что у нее пережитков прошлого гораздо больше, чем у нас тобой. А знаешь, какие они цепкие, эти пережитки?! Я сама поговорю с ней насчет Пети. Я сделаю это деликатно, ты, пожалуйста, не вмешивайся.

Мне пришлось отступить.

Баба Надя продолжала жить у нас. И всякий раз, когда мы узнавали о какой-то ее новой гадости, Клавдия говорила мне.

— Ну, что ты хочешь от старого человека, битком набитого пережитками прошлого?!

Незаметно для себя мы теперь уже не осуждали бабу Надю, а невольно оправдывали ее гадкое поведение. Так пережиточный вирус проник в нашу кровь и стал действовать с каждым днем все сильнее и сильнее.

Как-то мы были в гостях в одном малознакомом доме, и там же нас познакомили с молодым, но уже зазнавшимся киноартистом, имя которого я, по причине вполне понятной, назвать не хочу. За ужином Клавдия сидела рядом с ним, и мне решительно не понравилось ни то, как киноартист смотрел на Клавдию, ни то, как Клавдия смотрела на киноартиста.

Когда мы возвращались домой пешком пустынной ночной улицей, я довольно нервно сказал Клавдии об этом. Она посмотрела на меня задумчиво и сказала:

— А знаешь, это ведь во мне пережитки заговорили!

— Опомнись, Клавдия, какие пережитки?!

— Баба Надя говорила, что одна из моих прабабок бежала от мужа с гусаром!..

Через неделю после этого случая меня вызвали в школу, где учится наш Петька. Директор школы положил передо мной на стол какую-то бумагу и попросил прочитать вслух то, что было в ней написано.

Я надел очки и прочитал:

— Мой сын Петр Корочкин болен сиводня онгиной и патому не может прийти в класс на урок.

Под этой письменной работой моего многообещающего сына стояла моя подпись, подделанная настолько грубо, что было ясно — каллиграфа из Петьки во всяком случае не получится!

Когда я вернулся из школы, Клавдии дома не было. Я позвал Петьку к себе и показал ему его «домашнее сочинение». Он побледнел и ничего не сказал.

— Ну! — прикрикнул я.

Петька шмыгнул носом и простонал:

— Мы с Валькой Синицыным... за голубями... условились!

— Ты понимаешь, какую мерзость ты сделал, несчастный?! Ты обманул школу, родителей.

Петька поднял грешную голову, посмотрел на меня ясными глазами маленького начинающего негодяя и сказал нахально:

— Как будто только у вас, у взрослых, могут быть пережитки прошлого!

Я не выдержал и снял с себя брючный ремень...

Выполнив свой отцовский долг, я пошел в нашу спальню, где сидела и спокойно раскладывала пасьянс баба Надя, и велел ей собирать вещи. Она взглянула на мое лицо и покорно стала пихать в чемодан свои и наши пожитки.

На вокзале в кустопольский поезд можно было получить билет в дорогой международный вагон. Подавив в себе пережиток скупости, я купил для бабы Нади этот билет, загнал ее в вагон (на вокзале она сделала попытку удрать от меня) и лишь тогда вздохнул свободно, когда перрон опустел и мне стало окончательно ясно, что бодрая старушка не выпрыгнула из поезда на ходу.

Пережитки, беспокоят нас теперь гораздо меньше.



Если пройти через общий зал кафе-ресторана, то направо, рядом с кухней, вы обнаружите дверь в маленькую полутемную комнатку, которую официанты — между собой — называют «кормушкой».

В комнате этой, навечно пропахшей стойкими запахами подгорелого лука и пережаренного масла, посетителей не бывает, но она всегда прибрана, и стол — на всякий случай — застелен чистой скатертью. Она имеет свое, особое назначение. Сегодня в «кормушке» сидят за столом сам директор районного треста ресторанов Полушалкин Никанор Ильич — важного вида мужчина, еще молодой, но уже раздобревший, с зачесом волос

на бледном лоснящемся лбу, как у Наполеона Бонапарта, и плановик того же треста Борис Семенович Кулек — пожилой, хилый, в очках, с быстрыми, нервными движениями. Зашли они в кафе-ресторан «Богатырь» с инспекторско-ревизионной целью — обследовать. Обследование заключалось в том, что начальство постояло в общем зале минут пять, покурило, потом заглянуло на кухню, где у огромной раскаленной плиты сутились потные повара, а оттуда проследовало в «кормушку». Там все уже было готово, — со сказочной покоряющей быстротой на столе появились блюда с закусками и разнообразные бутылки и графинчики. Директор «Богатыря» Караев, жгучий брюнет с сизыми, почти синими щеками, сам руководил приготовлениями и на угощение не поскупился.

На столе все, что твоей душеньке угодно: икра в вазочках, масло, розовая семга, тающая в собственном жиру, маслины, похожие на миниатюрные пушечные ядра, салаты всевозможных фасонов, тарелка со слоеными пирожками и блюдо с холодным поросенком, скалящим зубки с таким человечески-живым выражением обиды на бледной, малокровной мордочке, будто он, поросенок, сейчас встанет и спросит едящих его: «Что вы со мной делаете, растакие вы и разэтакие?»

Обследователи сидят за столом, выпивают, закусывают — подводят итоги обследования. Караев, как гостеприимный хозяин, разливает водку по рюмкам, раскладывает салат по тарелкам.

— Никанор Ильич, дорогой, — говорит он, с опаской поглядывая на методически жующего Полушалкина, — скажите слово! Какие будут ваши замечания-указания, директивы-коррективы? Вы — наш отец, мы — ваши дети.

Полушалкин лениво усмехается, важно молчит. Сказать что-то нужно. Но что?

Пришел Полушалкин в подведомственный ему кафе-ресторан не давать директивы-коррективы, а просто выпить и закусить. Заскучал, сидя в кабинете в тресте, надоело копаться в бумажках, подписывать требования и калькуляции, ругаться по телефону с базами — потянуло на воздух, да кстати и аппетит разыгрался. Он и пошел пешочком по морозцу в «Богатырь», прихватив с собой для порядка плановика.

— Скажите ваше слово, Никанор Ильич! — не унижается Караев.

Поддев на вилку пирожок, Полушалкин откусывает сразу половину и, пожевав, с полным ртом неопределенно говорит:

— А расстегаи с рыбой, пожалуй, будут повкуснее.

— Завтра сделаем расстегаи, Никанор Ильич. Приходите завтра!

— Ты, брат, у меня не один. План выполняешь?

— С планом у него — все в порядке! — вмешивается в разговор Кулек, кладя себе на тарелку кусок поросенка. — За прошлый месяц сто три сделал.

Директор «Богатыря» скромно наклоняет голову:

— Стараемся по силе возможности!.. Никанор Ильич, — стонет он, изнемогая от преданности, — может, что заметили — скажите! В кровь разобьемся, а исправим. Давайте директивы-коррективы!

— Насчет морковки... Вы хотели сказать! — подсказывает Полушалкину Борис Семенович Кулек.

— Да, да!.. Вот что, Караев, — на кухне у тебя, брат, того... замечается расточительность. Люди не берегут продукты. Мы с Борисом Семеновичем обратили

внимание: на полу валялась хорошая морковь. По ней ходили, топтали ее ногами. Это как называется — с точки зрения государственного подхода?! Сколько там было морковки, Борис Семенович?

— Корней пять! — подумав, сообщает плановик.

— Вот видишь, Караев! — продолжает развивать свою мысль Полушалкин, строго глядя на удрученного директора «Богатыря». — А сколько весят пять морковок?.. Самое меньшее — триста граммов. Так? Теперь подумай, что такое морковь?

— Гарнир?! — робко, как ученик на экзамене, отвечает Караев.

— Не гарнир, а о-вощ. А что такое овощ?

— Опять же... гарнир!

— Застучал, как дятел: гарнир, гарнир. Ты отвечай с точки зрения государственного подхода. Овощ — это продукт труда. Так? Эту морковку колхозники растили, как мать дитя. Потом сдали государству. Так? Потом государственные машины ее везли по дорогам в дождь, в грязь. Так? Потом она, матушка, в подвалах лежала, и опять за ней люди присматривали, за что и получали соответствующую зарплату. Так? Привезли ее сюда, в твой кафе-ресторан, а ты что с ней делаешь? Топчешь ее ногами, как вот этот поросенок, когда он еще живой был?! Это как называется с точки зрения государственного подхода, а?!

Напуганный этим глубокомыслием, Караев бледнеет и из сизого делается нежно-голубым, как увядший василек. Он смущенно бормочет:

— Ей-богу, первый раз сегодня такое дело случилось, Никанор Ильич. И как раз вы пришли. У нас строго насчет этого!..

— Брось! — горячится Полушалкин, охваченный

своим порывом.— Я вижу — это у вас система. Сегодня затоптали пять морковок, завтра пять. А в месяц сколько это будет?.. Борис Семенович, оставь поросенка, посчитай. Если каждая наша точка затопчет в день по триста граммов морковки,— это, понимаете, какая цифра на весь трест получится?!

Кулек, отставив тарелку, извлекает из кармана автоматическую ручку и начинает делать вычисления на бумажной салфетке, а Полушалкин, устремив взор на низкий потолок в разводах и пятнах, множит и складывает «в уме».

— Тьфу!.. Даже в голову ударило! — говорит он, спустя минуту.— А ведь они, черти, не только с морковкой так обращаются, а, наверное, и со свеклой.

— И с луком! — вторит ему Кулек.

— Правильно!.. Ну-ка, прикинь на свеклу и на лук. Ориентировочно!.. Обожди, это долгая цифирь получается. Давай выпьем сначала... Ну что ты в поросенка как вцепился, так и не можешь отвалиться? Возьми семги, у него семга хорошая. Ешь и считай!

Они едят и считают, считают и едят.

Караев на цыпочках выходит из «кормушки» и спешит на кухню к заведующему производством Лукашеву.

— Ну, что там? — тревожно спрашивает полный, розовый, как семга, Лукашев.

— Плохо! Привязались к морковке — увидели на полу пять корней. Расточительство, говорят. Теперь считают, сколько в месяц расточаем с точки зрения государственного подхода. Понимаешь?

— Понимаю!.. Считают?!

— Считают!

— Придется шашлыки давать! — с глубоким вздохом заключает Лукашев.

— Давай — жарь!

— Я уже зажарил. Как предчувствовал!.. И что за напасть такая: вчера были следователи тоже из треста — кушали, пили. Третьего дня один ревизор забежал — тоже кушал. А ведь если подсчитать, сколько они в месяц... расточают, Ваня, а?! С точки зрения государственного подхода. Это ужас, что такое!

— Ладно, нашел время философию разводить! Давай шашлыки!

— Сам понесешь?

— Конечно, сам. Давай!

...А Полушалкин и Кулек все считают и считают. Полушалкин слегка осоловел, но нить рассуждений не теряет.

— А петрушка и сельдерей? — говорит он с тем же азартом. — Трав! Пустячок! Но... тоже продукт труда!.. Прикинь-ка и на петрушку, Борис Семенович!

Вопотевший от усердия Кулек берет новую салфетку и снова множит и складывает.

Входит Караев с подносом, на котором стоит тарелка с шашлыком — золотисто-коричневые куски жирной баранины издают волнующий запах.

— Поставь на стол и уходи! — командует Полушалкин. — Не мешай! Стой! Боржому подкинь бутылки две!

Наконец все подсчитано, все съедено и выпито. Пора уходить. О том, что за выпитое и съеденное нужно заплатить, директору треста ресторанов и его планисту даже и в голову не приходит. Если бы Караев сейчас подал им счет, они бы даже не обиделись, а лишь несказанно удивились.

Но Караев счет не подает. Он деликатно появляет-

ся в «кормушке» в тот момент, когда начальство собирается уходить.

Полушалкин милостиво протягивает ему руку и говорит:

— Ну, прощай, Караев. Получишь общий приказ по тресту, проработай его со своим народом! Обрати серьезное внимание.

А Борис Семенович Кулек хлопает его по плечу и шутит:

— Хотели вас, Иван Георгиевич, в качестве отрицательного примера в приказе упомянуть, да пожалели! Зачем, думаем, обижать хорошего человека. Ну, пока!

— До свидания! Всегда рады! — бормочет довольный Караев, провожая высоких гостей до двери. — Милости прошу, Никанор Ильич, на расстегайчики. Заходите!.. Ух, пронесло!..

На улице потеплело. Тротуары — мокрые, с серого неба сыплется мелкая морось — будто там, на небе, испортился душ, а починить некому. Прохожие ежатся, поднимают воротники пальто.


— Куда теперь? — спрашивает своего спутника Полушалкин, сдерживая сытую отрыжку.

— Вы хотели зайти в «Маяк»? — напоминает директору плановик. — Помните, поступила жалоба на грубое обращение? Давайте заодно уж обследуем.

— Что ты?! На полный желудок?.. Давай лучше в кафе-мороженое зайдем, как его?.. «Холодок». Посмотрим, как там Барабанов действует, обследуем. Да и остудиться не мешает после шашлычка.

— Идея!

Плановик берет директора под руку, и они направляют свои стопы в подведомственное им кафе-мороженое «Холодок».





**В серии
«Короткие повести
и рассказы»**

**Вышли в свет
и поступили в продажу:**

- Рахилло И. *Любовь и небо. Рассказы.* 91 стр., 11 коп.
Семенов Г. *Лебеди и снег. Рассказы.* 139 стр., 18 коп.
Федорова Л. *Катя Уржумова. Рассказы.* 128 стр., 16 коп.
Фесенко А. *Радуга над Шумловкой. Рассказы.* 105 стр., 13 коп.
Львов М. *Полтора месяца в жизни Тамары. Рассказы.* 69 стр., 3 коп.
Наумова С. *Лена и степь. Рассказы.* 87 стр., 8 коп.
Ракша И. *Встречайте проездом. Рассказы.* 96 стр., 12 коп.

Леонид Сергеевич Ленч

ЗАНОЗА

рассказы

Редактор А. А. Чернов
Художник И. М. Оффенгенден
Худож. редактор Э. М. Розен
Техн. редактор Л. М. Самсонова

Сд. в наб. 31.3.65 г. Подп. к печ. 5.8.65 г. Ф. бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 4,8. Уч.-изд. л. 4,4. Изд. инд. ЛХ-36. А04094. Тираж 100 000 экз. Цена 13 коп. Доп. к тем. пл. 1965 г. № 40.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 456.

Находятся в производстве:

- Алексеев Ю. *Телега в конверте. Рассказы.*
Гроссман В. *Осенняя буря. Рассказы.*
Шахбазов Н. *Лето прошлого года. Рассказы.*
Емельянов А. *Звезды в ночи. Рассказы.*
Полищук Я. *Расщепление ядра. Рассказы и фелъетоны.*

Книги продаются в магазинах Книготорга и потребительской кооперации, а также в киосках Союзпечати.

13 коп.

РЕСТОРАН



ЛЕОНИД ЛЕНЧ



КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

зано́за

